

35.143(2)
4157

БОРИСОВ-МУСАТОВ

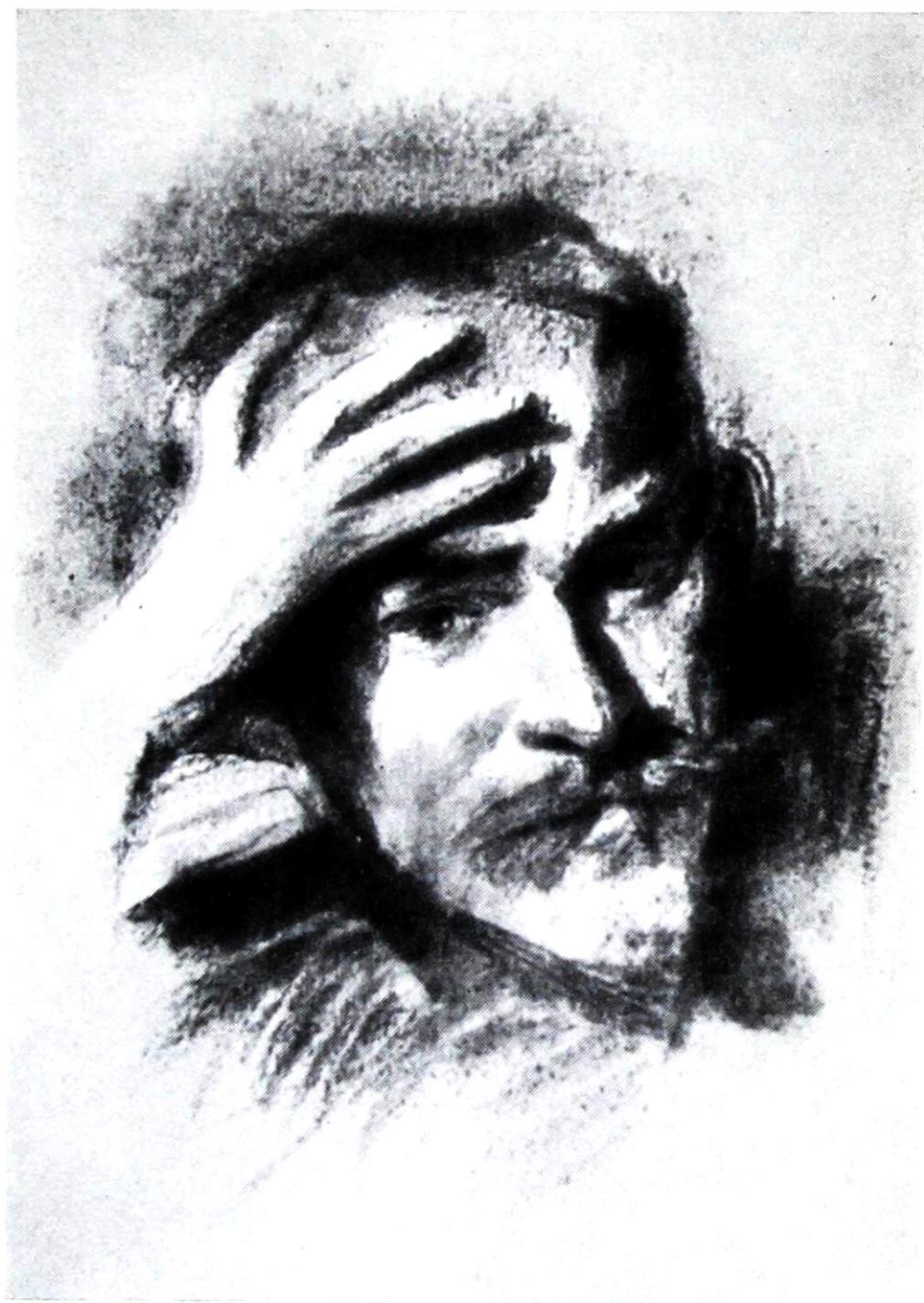


Константин
Шилоб



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ





Вик. Мухомов.

«Знаете ли вы, в чем заключается истинное счастье?.. Я это счастье нашел. Оно живет в труде. Все остальное — пустота. Счастье, которое дает творчество во всех его видах, есть самое величайшее счастье человека...» «...Одинокие звуки ничего не значат, исчезают, умирают бесследно, как бы сильно они ни звучали. Неужели же я принадлежу к ним и мне не найти своего созвучия?.. Неужели же мне не составить части одной гармонии? И, не находя в ней сил, не идти вперед, не расти в мировом оркестре? Ведь я же хочу звучать, хотя бы в жизни искусства!

Да вы-то меня понимаете ли?..»

Из писем
В. Э. Борисова-Мусатова

ЖИЗНЬ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ

Серия биографий

ОСНОВАНА
В 1933 ГОДУ
М. ГОРЬКИМ



ВЫПУСК 13

(660)

02.143(2)
Ш 59

ОБ

Константин Шолов

БОРИСОВ-МУСАТОВ

ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ
ЦГБ

39761-1
БАЛАНОВОМАН
МОСКОВСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ ЦЕНТР



МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1985

+

92
97

87

90

Ш 59
85.143(2) I

Рецензенты:

доктор искусствоведения
А. А. РУСАКОВА,

кандидат исторических наук
В. М. ВОЛОДАРСКИЙ

На фронтиспise — автопортрет В. Э. Борисова-Мусатова.

Шилов К. В.

Ш 59 - Борисов-Мусатов. — М.: Мол. гвардия, 1985. —
336 с., ил. — (Жизнь замечат. людей. Сер. биограф.
Вып. 13 (660)).

В пер.: 1 р. 70 к. 150 000 экз.

Творчество В. Э. Борисова-Мусатова, замечательного мастера живописи конца XIX — начала XX века, создателя новой в русском искусстве монументально-декоративной живописной системы, отличается тонким лиризмом и одухотворенностью, неустанными поисками гармонии в человеке и в окружающем его мире.

Книга поможет читателю узнать Борисова-Мусатова не только как художника-поэта, «мечтателя», но и как гражданина, патриота, стремившегося внести свой вклад в культурное развитие общества, защищавшего искусство от буржуазного торгашества, человека обаятельного, жизнерадостного, сумевшего противостоять болезни и житейским невзгодам.

Ш $\frac{4702010200-336}{078(02)-85}$ — 163—85

ББК 85.143(2)1
75С1

ПРОЛОГ

1

Облетели, осыпались вишни в саду за домом... Тополя вдоль улицы, сбегаящей к волжскому берегу, стояли словно седые. То и дело поднимался ветер, крутил пыль у белого двухэтажного особняка на перекрестке и летел опять же к Волге — вниз, вычесывая из шумящих крон клочковатую седину. И начиналось для всех идущих или с цоканьем проезжающих по булыжной мостовой обычное для сей поры нудное и досадливое бедствие. С каждым взвихриванием пыльной уличной бури, заставляющей прижмуриться, летней метелицей мчался тополиный пух, забивал дыхание, плотно застревал в волосах...

Благо перед открытыми окнами залы во втором этаже не раскачивались эти зеленью горящие верхушки и не выливали сюда светлые призрачные хлопья. Но все же и до самого дивана, скрытого в углу полуспущенными шторами и высоким, обвитым плющом трельяжем, еле слышно доходил запах молодого, горячего листа.

Старый барин сидел на любимом диване, и в малой степени не сдавливая его пружин своим немощным телом. Оно казалось еще длиннее, потому что «его превосходительство» не сидел, а почти лежал, вытянув худые ноги из-под летнего шлафрока, приладив к дивану любимую палку пробкового дерева... И как полусидел он сам — так он и полусуществовал, ибо давно уже был полуслеп.

Седая голова откинулась на спинку дивана, изредка вздрагивающей правой рукой придерживал старик повязку на глазах, мучительно болевших от света. Его лицо с обвисшими усами темнело проступившими по коже крапинами. Лицо было сонным, но среди рассеянных мыслей вдруг остановилась одна: уж не конец ли — сия вялая истома, где и места нет обычной раздражительности, под-

тверждавшей, что он жив? Еще два года тому, как была с ним супруга, писал ей генерал Шахматов: «Характер мой неизменный, та же подчас и игривость, та же вспыльчивость. Природа свое берет, ее не осилишь...»

А ныне в природе все перерождалось: облетало, осыпалось, отвеивалось — лепестками и сережками, отстрелявшими почками, тополиным пухом... Перерождалось — матерело, крепло и тянуло к земле. И слышит он сейчас, как из окна дышит начинающимся жарким летом 1868 года, летом, до которого он уже не доживет, как перетлевет что-то в нем и дымком сухим идет по душевному вместилищу, вползая в самые глубокие складки. И зацепила веки старая обида, до того старая, что, сдергивая повязку, туманно смотришь «сквозь слез», до играния скул — обида на судьбу. Обманула матушка. До какой агитации довела! До полной конфузии, имя же коей страшнее всех в мире имен — одиночество.

Поморгав освобожденными от повязки глазами, генерал на ощупь потянулся сухими пальцами к зеркальному холоду столика. А дотянувшись до листков бумаги, хриплым и уж совсем обычным, капризно-ломким голосом позвал:

— Ель-пиди-фо-ор!

Сидящий в креслах в другом углу залы за чтением журнала молодой человек лет двадцати пяти вздрогнул и в сердцах молча выругался. Но тут же легко встал. Был он телом коротковат, что подчеркивали крупные кисти рук и большая голова с открытым лбом, зачесанными назад светло-каштановыми волосами. Рыжеватая борода придавала известную солидность юношески пухлому лицу с мягким подбородком и безвольно отставленной нижней губой. Одетый вполне по-господски, камердинер — как величал его по старинке барин, или как он, подписывая бумаги, именовал себя сам — «служитель его превосходительства Алексея Александровича Шахматова Эльпидифор Мусатов» — с выработанным сочетанием торпливости и достоинства направился к отгороженному трельяжем углом. И прежде, чем услышал: «Сядь, запиши далее», уже изготовился и взял со стола недописанные накануне листки.

— «Виноват ли кто в том, что по природе своей он имеет живой, восприимчивый характер и близко к сердцу принимает нравственную нечистоту человеческую? — услышал Эльпидифор, вздохнул и стал привычно писать

за барном. — Казалось бы, что тут дурного? Ах, очень много! Недостаток кротости. А почему? По природе. Как северный полюс магнитной стрелки не может сойтись с южным, так и живой восприимчивый характер не может совмещать в себе кротость, необходимую, впрочем, только для эгоистической стороны человеческой жизни. Кто же тут в потере? Тот, у кого недостаток кротости!.. Вот теперь и будем судить: природа дала ему такие свойства, которые отрицают его в этой жизни, он не любим ближними. Ему одно остается в жизни утешение: повторять умное изречение, что общий друг не его друг, а человек, всеми любимый, — непременно подлец...» — старик задохнулся, и Эльпидифор тут же шлепнул пером по листу:

— Воля ваша, этак нельзя-с, ваше превосходительство! Передохнули б...

Старик на вид покорно умолк, но внутри уже все кричало жалким криком последнего бесполезного негодования: «Нет, времена!.. Нет, нравы! Истинно светопреставление! Куда ни повернись — так и раздрает всю твою чувственность! Дети выросли холодные эгоисты: Григорий еще молод, а уж генерал в отставке, как и старик отец. Отцовские деньги выцыганил и сам промотался, потеряв пмение. С ума совсем спятил от роковой своей любви, черной тоски и безделья... Алексей — чересчур легок, порхаючи все по парижам, женился без отцова благословенья — насилу простил!.. Варвара — бог с ней, с этой родней. У дела лишь Александр да Наташа, первый — тайный советник, сенатор. Другая — за своим молодцом Трироговым. Да что им всем до него, старика!.. От прочей же родни, кроме сраму и скандалезу, ничего не приобретешь! И народ пошел во всех слоях продувной. Повсюду «прогресс», «эмансипация» да нигилисты, у которых нет ни отца, ни матери и никакого родства... Да и чего хотеть от нигилистов — знатности нет, государственных заслуг не бывало, богатства — дай бог не умереть с голоду, и потому они проповедуют равенство по человечеству. А во главе их — бесштаные студенты, безнравственные женщины и такие же девицы!..»

Его превосходительство не изволили заметить, как раздраженные — наконец-то! — нервы заставили его с хрипотцой выкрикнуть последние слова. И усевшийся вновь за чтение Эльпидифор удивленно оторвался от журнала. Старик вернулся к жизни.

Словно светлый тополиный пух взлетает и вьется в черноте закрытого зрака, бесконечно вытягивается, превращаясь в белесую кудель. А уж та, видать, связует разные времена, и из мотков этих светлых нитей встают образы отжитого...

Скоро триста лет как делят московские дворяне Шахматовы с городом Саратовом его пеплом, рыбой да порохом пропахшую судьбу. Особой знатностью не отмечены, отличные лишь заслугами перед Отечеством, цепко держат Шахматовы свою родовую память. Переносил Саратов с левого берега на правый, защищал его от «разоренья, грабежа, потрав и обид калмыцких», отстраивал город, сожженный крымскими татарами да воровскими казаками, пращур старика генерала Тихон Федорович, голова саратовских стрелцов. Большими землями, покосами и ловлями жалован был Тихон «за многие его службы и взятие многие языки, и за отбой, и за русский полон, и за смерть, и за кровь, и за полонное терпение родителей ево...». Под пушечные залпы опущено тело Тихона под левым приделом красного Троицкого собора...

Сменилось два поколения, и вновь огнем и смутой охватило край. Погиб другой предок — внук Тихона, Артамон Лукич. О семейных же драмах Шахматовых пелись в народе песни. Живым нравом и строптивостью отличались многие из их рода.

Средь старых купчих и челобитных, владенных выписей и указов, любовных румбических сказок, синодиков и прихода-расходных книг лежали в семейном архиве бумаги, могшие при случае рассказать, что и он, Алексей Александров сын Шахматов, молод был, как и все. По окончании Морского кадетского корпуса — гардемарин. После десяти лет кампаний и морских переходов — капитан-лейтенант. А выйдя в отставку, за пятнадцать лет беспорочной службы в департаменте разных податей и сборов дошел он до генеральского чина действительного статского советника.

Грянула Крымская война. «По чувству дворянина» отказался Шахматов от получения пенсiona на все время войны и сам с тремя сыновьями стал в ряды войска, просив определить его вновь по морскому ведомству. Но отхлынул девятый вал севастопольской военной катастрофы, и на сырой, непросохшей земле, среди всплывшей, вверх дном перевернутой старой рухляди стали пробиваться ростки жизни, до обидного неповятой... Обо-

страляся разлад с детьми-наследниками. Расползался по швам старый дворянский семейный уклад. И, не доверяя более собственным детям, составил старик специальную бумагу, в ней же противоположил устаревшие свои идеалы семейной гармонии — нынешнему «прогрессу с его разъединяющим эгонзмом». Назначил сумму выплат на пожизненное свое содержание, оставив за собой из имений одну Губаревку — любимую, уютную «Губаревочку»...

И пришла последняя, давно подбиравшаяся беда: слепота, еще больше внушавшая едкую мысль о своей заброшенности и ненужности. Вот тут-то, на самом что ни на есть «закате своего солнца», вполне оценил старик Шахматов не связанную ни с наследственными разделами, ни с долговыми тяжбами, ни с генеалогическими разбирательствами привязанность одной молодой души.

Думал, притихнув в креслах, и Эльпидифор, думал о своем, не больно уходя по молодости лет в воспоминания... По правде говоря, помянуть жите-бытье со старым барином было чем.

Семь лет назад, как была объявлена «воля», затосковали господа по былой верности своей дворни. «Дворовые люди вообще скверно служат по случаю эмансипации», — завздыхала Варвара Петровна в письмах к мужу. И сам старик Шахматов пет-нет да костерил эмансипацию, ведь развивающаяся болезнь глаз превращала в беспомощного младенца, а ездить одному на лечение надо и далеко и долго... И то ли так зорко в поисках себе надежной опоры всмотрелся напоследок барин в «людей», живущих по поместьям, то ли встречная расторопность бывшего его крепостного Бориса Мусатова помогли делу, но слуга-помощник был вскорости найден. И оказался им он, Борисов сын Эльпидифор, тогда еще малый лет шестнадцати...

Все они, Мусатовы, из роду в род были хмелевские. Расположенное вниз по Волге, в шестидесяти верстах от Саратова, село Хмелевка — Святодухово тож — в осьмнадцатом веке переходило иногда к другим временным владельцам, да и век спустя Шахматовым приходилось закладывать его за крупные суммы. В деньгах господа нуждались подчас настолько, что с готовностью сдавали в аренду часть земель и мельниц: на сбегавших к Волге речушках Верхней и Нижней Хмелевке — одна за одной

стояли плотины. За серьезность и изрядную надежность давно приглянулся генералу Шахматову Эльпидифоров родитель, почему старик и пособил ему при случае потихоньку завладеть, хоть не в полную собственность, одной из малых хмелевских мельниц. Крепок был Борис и телесно, вообще не обижал Мусатовых бог ни отменным здоровьем, ни долголетием...

Передавалось по Мусатовым, что шли они по крови от татар: дескать, чуть ли не дед Борисов был крещеный татарин. И — возможно, коли вспомнить, что тип такой есть особый среди поволжских татар — светлоглазо-светловолосый, с веселой рыжизной. Откуда б иначе, помимо кряжистой низкорослости, взялась у Мусатовых эта раскосинка в глазах, а в иные минуты, несмотря на всю бьющую ключом энергию, откуда б долетала вдруг подергивающая лицо дымка какой-то восточной, печально-тихой задумчивости? Муса — имя татарское. «Мусат» — татарское слово, означающее «молот». Не от кузнецов ли — татар крещеных — фамилия пошла? И по-татарски, значит, выходило, что крепкие они люди, железные здоровьем, звонко и точно бьющие по наковальне своей судьбы... Шло Борису семейное прозвище. Хотя, если вдуматься, и свое, российское, подходящее есть слово: «мусат» — огниво, кресало для высекания огня. То же хорошо было так прозвать человека горячего, со вспыльчивым характером.

И как было старому барину не помочь Борису: подрастало у него четверо сыновей. Самый старший был Моисей, младшенький — Емельян. А два средних, поболее друг к другу жавшихся, — оя, Эльпидифор, да Матвей...

Экая радость была для Эльпидифора первая дальняя их с барином дорога. Да какая и куда — в Санкт-Петербург и Париж! В Петербурге прожили с месяц, да еще застряли, помнится, почти на полтора месяца в Берлине, где барин ждал приема Грефа, знаменитого окулиста. И в то время как Эльпидифор двинулся всему немецкому, барин изнывал от скуки смертной, незнания языка и скудости карманных средств. По приезде в Париж сын хмелевского мельника был в полном восторге и растерянности — верный себе барин тут же отписал на родину, что Париж показался ему «огромной помойной ямой в нравственном отношении». «И вот что худо, — жаловался он супруге, — вечером я без Эльпидифора не могу улицей пройти. Откуда ни возьмись какие-то барыни, одна называет себя англичанкою, другая итальянкою и тянут ме-

ня на все стороны, так что я чуть не закричал: «Police!»...» Хороший стол был им не по карману. «Случается и так, что... преважно идем по Итальянскому бульвару и лучинкою чистим зубы, будто бы с обеда из лучшего ресторана... Мой Эльпидифор также в отчаянии...»

Очень скоро барин оценил своего Эльпидифора по достоинству. Еще в Берлин пришло письмо от дочери — Натальи Трироговой (к ней, отдельно от других детей, питал старик сердечную слабость). Наталья просила кланяться Эльпидифору и добавляла, что видела на днях его отца. На исходе второго месяца их парижского жития старик доложил жене: «Мальчиком Эльпидифором я чрезвычайно доволен: умен, сметлив, по-видимому, предан и любит меня. Скажите это отцу его».

Перед отъездом из Парижа вздумал барин сфотографироваться — сделать жене и всему дальнему потомству памятный презент. На обороте фотографии, где сидит он, закинув ногу на ногу, с книгой на коленях, кое-как вывел барин жалостную надпись: «Мой милый друг Варенька... Вообрази, что ты ко мне в кабинет вошла, и я, прочитавши две-три строчки, от напряжения остатка моего зрения сложил книгу для отдохновения моего последнего глаза...» А днем раньше получил из рук барина такую же карточку его молодой служитель. На обороте стояло: «Ельпидифору Мусатову. В память хорошей и честной его службы во все время пребывания его при мне за границей. Париж. 20-го сентября 1861 года».

И годы шли. Барин все слеп, никого не узнавая уже и на аршин расстояния, слабел ногами, так и не добравшись в ту первую поездку на лечение в Висбаден, как рекомендовали врачи, — лечился дома, в России. В 1864 году, пожалуй, что месяцев восемь, прожил Эльпидифор при «его превосходительстве» в Москве и под Петербургом, в Павловске. То и дело наезжали они в столицу и в Петергоф, где между лечением сживали в концертах. Письма барин уже только подписывал, диктуя их Эльпидифору. Давно уж выучился тот грамоте, охотно и помногу читал вслух для старика «Русский вестник», «Искру» и другие издания. Снятие копий, изготовление «отпусков» — целые охапки бумаг исписаны его, Эльпидифоровым, почерком! Есть такие удлинённые начертания — как натянутые поводья, а у Эльпидифора все тянулись из-под пера ослабленные длинные вожжи: линии

мягкие и тонкие без нажима, с неуверенно-роскошными завитками... Сколько узнавать приходилось во время переписывания — знай только, смекай! Скажем, одни письма к отцу сенатора Александра Алексеевича, служившего по министерству юстиции: рассказы о заседаниях Государственного совета, новые проекты гражданского судопроизводства... Целый мир разных государственных дел с обсуждением скрытых в нем пружин российской политики, экономики и финансов приоткрылся Эльпидифору. Овладел он и изысканностью эпистолярных форм — приходилось писать за барина его знакомым. Но при всем при том не заважничал Эльпидифор, не потерял ни природной скромности, ни тем паче — достоинства. С последним, видать, мог даже переборщить, и тогда вдруг обнаруживалось, что характер у него далеко не елейный. И в этом случае, с непохожей на него кротостью, старик Шахматов только лишь отмечал: «Один Эльпидифор сделался мне утешением, несмотря на то, что всякий день бранюсь с ним за грубость. Он уверяет, что сам понимает свою грубость, но вдруг остановиться не может...»

Вот он, «мусат» — не то тебе молот, не то кресало!

Целый рассказ — и ох, какие воспоминания! — о второй и последней их зарубежной поездке с весны по осень 1865 года. На сей раз только в Германию. Опять пожил Эльпидифор в Берлине, а следом промелькнули Крейцнах, Висбаден, Гамбург и Вюрцбург... В Висбадене сделали больному уже вторую, столь же, как и первая, бесполезную операцию. Не раболепно — душевно привязался Эльпидифор к ожесточенному страданиями старику. И все, что шло в последующие годы от шахматовского благодеяния, принимал спокойно и серьезно, как выдаваемую в рассрочку плату за былые, подчас докучные, мелочные труды. Сидя за границей, не забывал Эльпидифор заботиться о младшем брате Матвее: то перешлет ему деньги, то купит сапоги, а потом и вовсе пристроил его через старика в саратовский дом Шахматовых швейцаром. А генеральша все тревожилась: «Доволен ли ты Эльпидифором? Успокаивает ли он тебя? Образумился ли он? Вот кабы грубости-то он оставил...»

«Образумился» же Эльпидифор, видимо, быстро — в конце июня того же 1865 года в Гамбурге получено было

от барыни письмо, где между прочим стояло: «Ельпидифору от души желаю счастья в женитьбе».

В самый канун последней поездки за границу повстречалась и полюбилась Эльпидифору, как и он, невысокая, чуть скуластенькая, с небольшими глазами — с виду совсем простенькая Дуняша, и как-то сразу «спелись» их натуры в мирно-спокойном ладе, будто от веку были знакомы. Такое впечатление, быть может, совсем не случайно: неоднократно упоминает в своих записках внучка старого барина Евгения Александровна «Дуняшу, камеристку мамы» — Марии Федоровны. Ведь несколько лет, до 1861 года, жил в Смоленске, будучи губернским окружным прокурором, сын барина Александр Алексеевич Шахматов со своей Марией Федоровной. А невеста Эльпидифора — родом-то из смоленского города Гжатска... Видно, и покинула она навсегда родные края, отправившись за своей хозяйкой. Второе же «пересечение» и того любопытней: из восьми месяцев 1864 года, прожитых стариком и Эльпидифором в Петербурге, совпадают два месяца с пребыванием там же Марии Федоровны, надо полагать, с верной горничной. Жила Мария Федоровна у родни, потому что ждала ребенка, вскоре родившегося сына Алексея. И выходит, именно тогда, при общении старика с невесткой, и состоялось знакомство камеристки жены барского сына с камердинером самого барина. Внутри шахматовского же семейства, шахматовскими же обстоятельствами оказался предрешен для Эльпидифора и Дуняши вопрос об их союзе. Генерал Шахматов выбор служителя одобрил: Дуняшин отец, Гаврила Коноплев, был не голый вертопрах — имел в Гжатске живописную и переплетную мастерскую, сам слыл хорошим мастером-золотопечатником.

В сентябре 1865 года, сразу по возвращении Эльпидифора на родину, в Петербурге молодые обвенчались. Под руку, притихшие от счастья, замерли они на старом снимке, бездумно-доверчиво глядя перед собой. Оба одеты не без столичного «шика». На женихе черный костюм, черный жилет и узкий галстук на крахмальной манишке; ухватился он одной рукой за свисающую из-под фрачного борта цепочку, на указательном пальце другой руки — перстень... На невесте светлое в полоску платье, колоколом расходящееся книзу, с широкой отделкой по подолу, сверху наброшена черная кружевная накидка... Одну такую карточку подарил Эльпидифор своей суженой, пожалуй что не без влияния чувствительного стиля

своего барина, сделав на ней надпись, полную нескладной, но подлинной нежности: «Дуняша, в минуту грусти взгляд твой встретит на лице моем все... Твоя жизнь дает мне силы на все, чем могу тебя успокоить».

Конечно, барыня их поздравила, но на мужнину просьбу взять еще и будущую жену Эльпидифора в горничные, ответила твердым отказом. Устала она от перемен «фрейлин», тем более, добавила не без язвительности старуха, «зная нрав Эльпидифора, не могу рассчитывать и на жену его...».

Может, оттого оно — разлитие смертной вялости и торжество черной, изредка белесой пустоты, — что ничто не нарушает сейчас тишину особняка с колоннадой маленького портика, выходящего на Аничковскую. Ныне как отрезало. А ведь всю-то зиму какое столпотворение в доме было!.. Не войдет осторожными шагами умница невестка, жена сына Александра, по случаю устройства того в Харькове гостившая в саратовском доме вместе с детьми. Да и внучат нет, которые так радовали своей веселой возней — здесь же за стеной, в антресолях; не проскользнет мимо, пока ее не окликнешь, пугливая Жения — «Геничка», не протокает прямо к нему, не влезет проворно на диван трехлетний кудрявый Леля, любивший ласково расчесывать деду редкие седые пряди... Глядя дрожащей рукой головку Лели — сына Марии Федоровны и своего Александра, любуясь ласковым нравом малыша, и не догадывался слепой дед Шахматов, что перед ним будущая гордость шахматовского семейства, тот самый «легендарный мальчик», имя которого яркой звездой взойдет на небосклоне российской академической науки... Мальчик, которого рождение-то было, по всему судя, при Дуняше Коноплевой, будущей Эльпидифоровой избраннице...

Нет в доме никого, чье присутствие согревало б, а ведь два сына остались в этих же стенах. Своя вроде кровь, но нет никого рядом, и Эльпидифор молчит, как воды в рот набрал. Вот разве Эльпидифор... Ровнехонько через месяц после его женитьбы окончила свои дни Варвара Петровна, некому было теперь противиться брать в дом молодую Эльпидифорову жену. К тому же привязалась Дуняша, искусница рукодельница, к дочери Наталье, тоже любительнице вышиваний и всяких домашних за-тей. И с тех пор уж почти два года минуло...

Посолиднел Эльпидифор и сам по себе, и в глазах всего шахматовско-трироговского окружения: расхожие какие бумаги под диктовку пишет конторщик либо писарь, а там, где раньше вместо подписи шахматовская печатка стояла, — теперь красуется: «С подлинным верно. Э. Мусатов». На всякий пустяк его не используют, хоть он и берется с умом за любое дело. Ходит Эльпидифор в банк с ценными бумагами для залога и выкупа шахматовских билетов, дельно выполняет разные поручения Владимира Григорьевича Трирогова — весной вот с двумя казенными пакетами ходил для устных объяснений к губернатору князю Щербатову... Цены нет этому Эльпидифору — и слуга, и чтец, и писарь, и «нотариус» — верный, свой человек! А главное, как подумаешь, другое: ведь этот некогда неотесанный недоросль целых семь лет был зраком твоим видящим, твоими глазами был... Только что и отрада ныне, что он сидит неподалеку и молчит, а стоит шевельнуть дремную одурь, разлепить уста да позвать-кликнуть — вот он и... вот — как всегда-то...

День был жаркий. Гроб старика Шахматова несли на руках хмелевские и губаревские мужики, несли до городской окраины, до самого прятавшегося в тенистой роще на склоне горы мужского монастыря... Весь сонм спешно собравшейся родни хранил прилично-печальное молчание. Ни слез, ни скорби — одно усталое недоумение: неужто больше не услышать издергавших всех сентенций старого педанта-ворчуна?.. Съехавшиеся как по уговору, шли бывшие крепостные, деловито насупившись. Тихо всхлипывая, терла глаза одна лишь горбатенькая старушка ключница... Но рядом с ней горько, громко плакал Эльпидифор, и маленькой «Геничке» — будущей мемуаристке шахматовского рода — показался дедов камердинер совсем стариком.

Солнце плавало цвета в дрожащем мареве, обрызгало листву золотом куполов. Медленно плыл и оседал прозрачный, последний уже тополиный пух...

2

Отыграла жизнь на манер старинной музыкальной табакерки, защелкнулась крышкой с фамильным вензелем — будет теперь лежать среди других недвижимо-стей, в пыльной куче семейных преданий...

Сентябрьским днем 1868 года собрались все пятеро сонаследников в доме усопшего родителя и учинили любовный раздельный акт оставшимся после него именьям. Среди прочего отошла Хмелевка-Святодухово сыну Александру Алексеевичу, а саратовский особняк, давним еще завещаньем матушки Варвары Петровны, остался за Натальей Алексеевной Трироговой и ее супругом. Прозвучало ли какое устное завещание старика генерала своему Эльпидифору оставаться при семье любимой дочери или подразумевалось это само собой?.. Но по всему — идти пока что Эльпидифору некуда было, да и не хотелось покидать стены, где пригрелась его юность и столько памятных воспоминаний держало душу...

Уже в акте раздела имений значился Эльпидифор доверенным лицом Натальи. Все братья Мусатовы (кроме Моисея, получившего по старшинству отцову мельницу в Хмелевке и оставшемуся в селе, дабы и там, в мусатовском гнезде, их роду не было переводу) приписались к мещанскому обществу разных саратовских городков. Сын бывшего крепостного Эльпидифор Мусатов, пожалуй, не случайно причислен был со всем будущим потомством к мещанам Кузнецкого уезда: находилось в уезде том Аряшинское именье Трироговых, а сам Владимир Трирогов постоянно вояжировал как мировой посредник, а затем и судья в Кузнецк на мировые съезды... Видимо, как могли следовали Трироговы давнишним словам покойного отца: «Эльпидифор служит мне большим утешением, честен и верен до крайности... Он до того нравственно хорош, что, быть может, я устрою его будущность, по возможности счастливую...» Кажется, еще сам старый барин начал это «устроение», определив упорного в самообразовании служителя на бухгалтерские курсы. Обозначилась основа Эльпидифоровой будущности: закрепилось новое его сословное положение. Пока же — куда деваться — жили и еще почти десять лет будут жить молодые Мусатовы в доме доброй Натальи Алексеевны. Еще во многих письмах к отцу не забывала Наталья Алексеевна послать привет кому-либо из двора или расцеловать какую-нибудь старенькую Антипьевну за расшитые для нее платочки. С чего бы и усомниться в том, что с Дуняшей Мусатовой и с Эльпидифором — старой нянькой отца, она была по-особому хороша?.. Частенько Мусатовы чувствовали себя в уютном старом особняке едва ли не хозяевами. К тому же ради выплаты долгов, бывало, по полугоду жили Трироговы в деревне безвыездно.

Медлительно кончалась зима, нового, 1870 года. Как тяжелели под солнечным пригревом, теряя белизну, сугробы, наливаясь в тенях темно-синей сыростью, так налегал и расслаивал непокой душу...

То ли наибольшая даровитость Эльпидифора печально выделила его из всей крепкой мусатовской породы, снабдив его организм еще неведомой ему самому болезненной хрупкостью, то ли сглазили завистливые взгляды, но никак не выживало у Евдокки и Эльпидифора потомство. За первые годы семейной их жизни двух дочек и двух мальчиков унесла смерть, и будто бремя тяжкого жребия ощутил на себе Эльпидифор.

И вот вновь ожидание, да еще двойное: ждет в эту пору второго ребенка хозяйка дома Наталья Трирогова, ждет вдаль от Саратова, в своей усадьбе. А в городском белеющем в сумерках доме, на углу Аничковской и Александровской, сидит горничная Дуняша — в доме недалеко от реки, еще закованной в лед, под улегшимся метельным настом. Сухо потрескивают свечи в медных шахматовских шандалах... И, поднимая в кругу света над новым рукодельем бледное лицо, ловит невзначай Дуняша мужнин мучительно-кроткий, и все же — от упрямого борения с темнотой — с пронзительной синевою взор.

На конец великого поста выпала неустойчивая погода, пасмурным и промозглым был и «обманный» первый апрельский денек. Зато следующий день, четверг 2 апреля — самый капун Эльпидифоровых именин, — стал днем настоящей радости! С утра брызнуло солнце, и в этот день, ставший первым проблеском установившейся позднее, с конца страстной недели, ясной и теплой погоды, родила Дуняша сына...

Через день, в субботу, когда вновь принахмурилось и задождило, тронулся на Волге лед, и еще через пять дней загудел басовито первый, вниз до Астрахани отплывающий, пароход товарищества «Лебедь»... Но этот пойманый солнечный просвет в сырой весенней мгле, это томящее белое круженье идущего льда, этот голос силой сирены — все соединилось для Эльпидифора вокруг Дуняшина колыбельного дара и словно помутило голову...

А следом, так под стать мусатовской светлой радости, захватило город пасхальное веселье. На пасху же пазначена была ярмарка... И вот дрогнула утренняя синева, с

белыми островками облачков, от ликующего колокольного перезвона.

И не меньше как победителем судьбы почувствовал себя в эти дни Эльпидифор — человеком, одержавшим над тайным своим роком доподлинную викторию... Соблазнительно видеть отчасти в этом и секрет выбора имени для новорожденного, которому, дай бог, наконец-то выжить, выстоять, победить! Словно заклинающее имя Виктор — победитель — несколько озадачит потом иных размышлявших: уж очень оно необычно, слишком «интеллигентно» для исконного мещанско-крестьянского мусатовского уклада. Вслушаться: отец и дядя — Эльпидифор, Моисей, Матвей да Емельян. Края были раскольничьи, имена пахли суровым полотном, грубым ржаным хлебом, глухо звучали библейской каменной твердостью. И вдруг — это, чуждое для слуха мягкостью и благозвучием... Уж и при рождении одним своим горделивым именем выломился мальчонка из привычных рамок. Конечно, помимо означенного смысла, легко тут усмотреть и своего рода претензию образованного Эльпидифора... А ежели еще проще глянуть, увидишь, быть может, и ту и эту причины, объединившиеся вокруг одной из последних пасхальных дат, когда — скорее всего, выждав для верности некий срок, — ребенка крестили. На тринадцатый день после его рождения пришлось поминование мученика Виктора, а выбор таких же «благозвучных» имен по календарным подсказкам выпал на эти дни небогат...

Радостное для мусатовского семейства начало 1870 года явилось и порой больших ожиданий для его земляков. Развертывая номера газет, сулившие грядущий расцвет Саратова, превращение его в большой и красивый город «европейского характера», неизменно обращал внимание Эльпидифор на торжественный тон сообщений о предстоящем открытии железной дороги, которая совершит волшебные метаморфозы в развитии края. Уже в течение наступившего года, вещали газеты, сделает железная дорога Саратов главным торговым центром, свяжет его с центрами экономики, администрации и интеллигенции. Совершится чудо: прилив идей, улучшение нравов, привычек, вкусов, большая степень разумной простоты и естественности... Задумываться стал Эльпидифор, вникая в эти известия. Уж очень привлекательным показалось

ему открывающееся поприще: к чему далеко искать случая наиполезнейшего служения своего обществу? Сохранилось событие и в памяти дальних потомков Мусатовых, более чем столетие спустя вспоминавших, как «железную дорогу пускали. А наш-то Эльпидифор там в шляпе ходил...». Так и видишь: шагает взвинченный Эльпидифор под крики «ура!», и отчаянный свист паровозика вдоль полотна, зорко вглядывается в это фантастически-благодатное «поприще», открытое ему судьбой и прогрессом.... И немного пройдет времени — окажется Эльпидифор в солидной должности бухгалтера управления дороги. Очень понятно и то, что пойдут за старшим братом, опять же коль не считать хмелевского Мойсея, остальные. Емельян будет служить в том же самом управлении. Матвей несколько позже станет начальником на одной маленькой железнодорожной станции...

А человеку — месяц, и полгода, и год... И мир, заносимый в стены старого дома с шелестом свежих газетных листов, с волнующими отца новостями — то о разгроме французов пруссаками и сдаче Наполеона III в плен при Седане, то о «каналье Бисмарке», ведущем дело к возрождению Германской империи, то об утверждении решений конгресса Соединенных Американских Штатов генералом Грантом — все где-то там, за блаженно-зыблущимся сиянием полунебытия... Но в проступающих цветных пятнах, в сливающихся шорохах — завеса уже его времени колеблется над кроваткой спящего мальчугана.

ОТПЛЫТИЕ

Глава I

1

Встает стеной до звона ясная синева: небо ли, Волга ли сливаются в едино море? А на этой синеве, как ни прижмуривайся, белеет узорное облачко... Оно движется, растет, опадает, вновь растет и вот уже колыхнется целой грядой облаков. В прозрачной белизне туда-сюда ходит прямой длинный луч, мелькая холодным металлическим блеском. Мальчик видит это кружево, и что-то родное обволакивает его сон. Это тепло тихо напевающего голоса и рук матери, таких быстрых и ловких. Это ее кружева — самые первые облака в синем поле его судьбы. И это первая его сказка, где тянутся стебельками, обхватывают друг друга диковинные растения, распускаются белые цветы... И сквозь дрему просит-надеется извечная, незатейливая песенка все про того же невезучего котика-кота, на которого приходит слепота — «а на Витеньку мово придет сон-дремота... Угомон тебя возьми... Вырастешь большой, будешь в золоте ходить...». Но угомон уже не берет: властно стоит за прикрытыми веками, насыщаясь сплящим светом, отвесная стена синевы...

С распахнутой веранды входит запах свежестираного белья. Волнующе-здоровая крепость влажного полотна. Тянущийся ветерок, суровый холщовый трепет...

И он смело и широко раскрывает глаза. Синяя стена отступает, словно растворяется в четырехстенном и многомерном мире, — превращается в «белый свет». В окнах — чистые гладкие стекла с тонким радужным наплывом. В каждом стекле набирает силу оранжевое солнце. По карнизу старого белокаменного дома через дорожку разгуливают голуби. А там, за порогом, куда он сейчас выбежит, — расходится по улице и легко тает белесый туман...

У беды свой закон, свой постылый вкус, и ничем нельзя его избыть или подсластить. У беды свой «дурной сон», и вдруг, в один миг становится им вся твоя явь... И не хотел верить Эльпидифор, затаиваясь в себе, горбясь над столом и прикрывая глаза ладонью: неужели — достало, не обошло-таки и его лихо? Да ведь какое... Заболел трехлетний Виктор — и не в один день, а как-то постепенно теряя на глазах родителей былую резвость... Без всяких видимых причин сделался он тосклив и вял, от любых движений быстро утомлялся, а устав — дышал пугающе-странно, с одышкой... Недоумевая, в слезах смотрела на своего любимца Дуняша. Но скоро все прояснилось — и самым печальным образом: на спинке ребенка стал образовываться горб — следствие сильного ушиба позвоночника. С опозданием стали приходить на ум все случаи плохо кончавшихся проказ неугомонного мальчишки. Было дело: долго жаловался он на боль в спине, оцарапанной во время падения о край садовой скамейки. И еще припомнилось: расшибся однажды зимой, упав со снежной горки... Врачи качали головами, присоветовали ношение корсета, но положение стремительно ухудшалось, корсеты не помогали, и по истечении года отправлявшийся по делам службы в Петербург, в правление железной дороги, Эльпидифор Борисович взял с собой жену и сына.

Мальчика поместили в Екатерининскую детскую больницу. Родители вернулись в Саратов, но вскоре пришла из Петербурга телеграмма с просьбой забрать ребенка. В мрачном предчувствии собрался Эльпидифор в новый путь, перекрестясь и приготовясь к новому удару... Так и оказалось: в одну из прогулок по больничному саду, ускользнув от других детей и от надзиравшего за ними дядьки, взобрался их шалун на какую-то лестницу так высоко, что голова закружилась, и упал с нее в выгребную яму, проколов как раз больное место спины острой торчащей костью. Потерявший сознание от ушиба и боли, найден он был не сразу. Видимо, усомнились врачи в своем успехе после такого несчастного падения, еще более подстегнувшего развитие воспалительного процесса. И спокойное их отчаяние, а заодно какие-то намеки, сделанные ими Эльпидифору на собственную его болезненность, на некую дурную предрасположенность, переданную им сыну и проступившую поистине по воле «злого рока», — все окончательно смутило несчастного отца. Тогда-то и сник, притих, как-то отяжелел сразу Эльпи-

дифор Борисович, начал быстро лысеть со лба, обрамленного теперь узкой кромкой светлых, коротко остриженных волос. Еще меланхолично-печальнее стало выражение его исподлобья глядящих глаз — словно сжился он с бедой, трезвый ум твердил одно: лиха, да твоя и — навечно. Но сдаваться не мог — не позволяла Дуняша. Вдруг проявилась в ней как бы наперекор несчастью такая сила характера и воли, что муж диву давался...

В один из последних майских дней 1875 года явился на квартиру Мусатовых неизвестный человек, назвал себя врачом Никодимом Адамовичем Овсянко и — по рекомендации местного врачебного инспектора — предложил свои услуги. Мальчика он начал лечить по новому способу ортопедиста Корженевского, и после года упорного лечения — подумать только! — Виктора нельзя было узнать. Остановившийся рост его возобновился, во всей фигурке появилось равновесие и выносливость при ходьбе. И самая большая радость: мальчик, живой от природы, стал, как и прежде, весел и резв... В порыве горячей признательности господину Овсянке написал Эльпидифор благодарственное письмо в редакцию местной газеты, несколько торжественно объяснив, что, помимо родительских чувств, руководит им и «надежда приобрести облегчение страждущему человечеству и желание заявить об интересном факте...». Громкий тон общественной благотворительности — в духе времени. И факт был налицо — улыбка, озорной блеск сыновних глаз, но непомерные надежды на то, что время окончательно скроет следы двухлетних детских мучений, не оправдались. След остался на всю жизнь, хотя и в значительной мере сглаженный с возрастом — с появившейся шириной плеч и горделиво-прямой посадкой головы. Пока же Виктору Мусатову всего шесть лет, и земное его существование оказывается впервые утвержденным печатно... При сопоставлении же малых крох сохранившихся свидетельств появляется и еще нечто, особо важное: в самую тягостную пору бесконечных гимнастических занятий со своим «воскресителем» Никодимом Адамовичем — надевая на исхудавшее, изменившее формы тельце обременительные корсеты и лечебную обувь, сумев сохранить при этом как бы «про себя» всю мальчишескую прыть, но научившись отнюдь не детскому терпению и упорству — именно в эту пору Виктор сделал первые свои рисунки...

Родная для Виктора южная и юго-восточная окраина Саратова широкой плавной дугой изогнута вдоль Волги. Некогда по всему берегу окаймлялась она густыми дубовыми лесами, за которыми разливалось в сторону городского центра бесконечное море садов, дач и мельниц, весело махавших крыльями на открытом волжском ветру... Но уже с первой трети столетия, после опустошительных пожаров, спаливших многое в старом центре, въехали в это окраинное зеленое царство кареты, тарантасы и рыдваны местных дворян. И среди остатков бывших садовых насаждений поднялись на Аничковской улице, первоначально и поименованной Дворянской, небольшие городские усадьбы... Пробегая по соседним обывательским закоулкам и сворачивая на свою улицу, подмечал Виктор резкий контраст. Захолустные домишки с деревянными звездами слуховых окон, грубое или тонкое, пылью присыпанное кружево, карнизы и коньки крыш — с краской, отколушнутой знойным солнцем, через дом два — ворота с расставленными по бокам столбами, на коих покосились маковки-купола или целые железно-узорные кремли, такие же то ли шатры, то ли вырезные жестяные самовары — на печных трубах.

И рядом, чуть немного в горку — стройность белого ампира: колонны, подпирающие кровлю или балкон мезонина, полудиркульные окна фронтонов... Громадность этих построек, поразительную для детского воображения, еще больше подчеркивали стоящие тут же низенькие службы и дворовые флигели. И симметричность, законченность маленьких ансамблей так стройно и приятно охватывались взором...

Была еще какая-то неожиданность и «вознесенность» в этих зданиях, смутно белеющих в крошечных потемках и особо таинственных в тот час густой синевы, когда окна загорались теплым светом. Каждый дом становился особенной, своей загадкой, хотя с одинаковым каменным молчанием, неярко зажегшимися глазами смотрел он из минувших времен, с не требующим ответа вопросом — на времена мимоидущие...

Нет прямых свидетельств о том, что влияло на душу ребенка в течение срока немалого, составившего почти целую треть всей отпущенной жизни. Первые восемь, коль не все десять лет на Аничковской проще всего посчитать пробелом. Но одно вдруг становится ясно: не

стоит преувеличивать бытовую, мещанской одноцветности раннего детства Виктора Мусатова. Тем более что впечатлительная, тонкая натура иной слабый звук преобразует в негромко, но сквозь жизнь поющую мелодию, каждый легкий штрих совет в причудливый и прочный узор.

И, сопоставив для вящей надежности все по датам, рискнем войти в нижний этаж шахматовско-трироговского дома, где в одной из комнат, быть может, в самой угловой, у высокой, украшенной зелеными обливными изразцами каминной печи с глядящим загадочно вниз керамическим женским ликом, найдем пригревшегося у огопка бледного мальчика с головой, слегка втянутой в худенькие плечи. Мальчик с интересом прислушивается к пенью и танцам, доносящимся сверху. Рождество. По всему дому пахнет хвоей, густым ароматом смолы... Вспыхнувший огнями дом похож на зарюившийся улей: съехались вместе родня и друзья — Трироговы, Шахматовы, Михалевские... Тон задают Алексей Алексеевич Шахматов, «Леля»-старший, весельчак, шутник, меломан, сочинитель многих романсов, пользовавшихся успехом во Франции, и его жена Ольга — красивая строгой, одухотворенной красотой. Чета эта, как вспоминают, окружена была «какой-то особенной поэтичной музыкальной атмосферой и ореолом любви, из-за которой они так много пострадали». Поет сестра хозяина дома Софья Григорьевна — в будущем известная певица Логина. Сильное контральто заполняет стены колышущимися звуками «восточных мотивов»... Наташейка, — внучка, любимица старого барина, танцует «качучу» с кастаньетами... И нет сомнения, что и в стенах трироговского дома, во время детских игр и постановки «живых картин» докучал всем «дядя Леля» Шахматов своей неумеренной любовью к XVIII веку, поклонением стилям «разных Людовиков, подстриженным аллеям Версаля и неотразимым мадам Гриньян, Севинье, Монтеспань, Лафайет». «Фижмы, мушки, кринолины, пудра, парики» — изящный сей мир былого заставлял его, как вспоминает племянница Женя, то и дело раздражаться на мир современный, мещанский. Но кто скажет, какие живые искорки этих праздничных, уютно-домашних и все-таки «светских» веселій долетали, пусть даже и краешком, до тихого, внимательного ко всему мальчика, сына давнего слуги семейства?..

И еще одно, на этот раз бесспорное обстоятельство,

связанное с теми же стенами: когда Виктору сровнялось пять лет, родилась здесь у Мусатовых дочь, названная Агриппиной.

Далее смена картины. Прощай, старый шахматовский адрес, так прочно и так тонко, словно мамным белым кружевом, вплетенный в судьбу, что почти незаметен был он до сих пор взору биографа... И вот уже выводится пером другой адрес, оставшийся в любом жизнеописании Виктора Мусатова. Адрес его творческой судьбы, увы, почти на весь земной его век. Он краток: «Саратов. Плац-парад. Собственный дом». Вот как, наконец-то: собственный, мусатовский, купленный, как иногда пишут, Эльпидифором одноэтажный домик. Но кружево — так кружево, и еще некоторое время разглядывая его на просвет, хотя бы сквозящим намеком будем мы видеть, как один его узор перерастает в другой. Родившаяся уже на Плац-параде младшая сестра Виктора и Агриппины — Елена спустя полвека припомнит: «По рассказам матери, все место, где находился наш дом, было подарено отцу генералом Шахматовым за его безупречную службу...» Но при чем тут старик генерал, скончавшийся за десять лет до того? Не большой ведь черной мизантропией, одиноко угасший в эти годы «младший» генерал Григорий Шахматов расстарался благодетельствовать Эльпидифору? Да и зачем сидеть было в чужом доме на Аничковской, будучи самому домовладельцем?.. Конечно, опять была тут добрая воля Трироговых, до конца исполнивших заветы родителя и особенно после несчастья с мальчиком, вызвавшего жалость, обострившего старое чувство семейной благодарности. И новый адрес мусатовский по соседству со старым: всего-то спуститься за трироговский сад, пробежать один квартал к параллельной улице Вольской. Свернуть налево. Вот и Плац-парад...

Экое громкое название! А место — тишайшее... Конечно, и до переселения сюда забегал Виктор в это сказочное царство захолустья. Огромная площадь, часть которой служила солдатским плацем, под ослепительной силовой серебрилась высоко разросшейся полынью и лебедой с желтеющей в самой гущине куриной слепотой, с с колючим татарником, кое-где поднимающим свои красные мягкие шапочки. Не было мальчишки, не рубившего в сабельном походе это нагло наступающее драконо-

подобное полчище ветвистых стеблей, вязко переламывающихся и размочаленно виснувших под ударом. Военственный пыл этих игр подкрепляли направленные на пустырь черными дулами батарейные пушки. Забытые здесь еще с николаевской поры, они были расставлены вдоль жандармских конюшен, замыкающих Плац-парад со стороны Белоглинского оврага. По правую руку от Плац-парада в деревянном четырехкомнатном доме поселилось мусатовское семейство. Во двор выходили окна детской спальни и столовой, а зала в четыре окна и кабинет Эльпидифора Борисовича смотрели как раз на площадь. Издали, не отрываясь от работы, видела Евдокия Гавриловна: мелькала в траве пестренькая рубашка с белым воротничком и черные штанишки... Виктор прибежал разгоряченный возней и очередными приключениями, и, бранясь для порядку, втайне радовалась мать сиянию его глаз и задыхающимся рассказам.

И в светлых комнатах нового дома можно было мчаться из двери в дверь, вихрем отбрасывая драпировки с кистями. Особенно когда был на службе Эльпидифор Борисович. Или, взгромоздясь на старый письменный стол, отданный отцом, играли в одну из самых любимых игр — в «железную дорогу»! Груню сердило первенство брата, и часто игра заканчивалась ссорами.

Детство в провинции! Детство — зимой, завалившей округу и весь Плац-парад морозно скрипящим, ослепительным белоснежьем, когда всплывает над Волгой солнце и на горы ложатся розовые отсветы... Вольская, как и все саратовские улицы неподалеку от своего волжского истока, падает вниз круто. Санки и коньки, смех и слезы, обиды и радости... А лыжи делали сами, веревками привязывали к валенкам тонкие доски...

Но все же скорее бы лето — с походами на Волгу, когда из материнского комода вся компания вытягивала тайком большую простыню, и все тот же заводила, недавно бывший «начальником станции», теперь воображал себя уже лихим волжским атаманом... Быстрее, пока не вернулась мама, выбегали из дому. И как только заспешит под уклон под твоими подметками улица, сразу подхватит ток ни с чем не сравнимой родной прохлады, зашевелит ветром волосы, зашуршит кронами тополей... И вот с этого-то поворота она и открывается — там, внизу, между зеленых высоких стен спускающихся деревьев. Серо-голубая, с далеким «тем» берегом — желтой полоской песка и сине-зеленым лесом. Нет, не гро-

мадная, не величественная она здесь, а какая-то «домашняя», своя... И еще с горки видно, как тянется вдаль волна за скрывающейся баржой.

Перерезав Большую Сергиевскую почти у берега, попадаешь в облака сытного, душащего мучного запаха. Белая пыль летит из окон высоченных мукомольных фабрик, понастроенных тут богатеями немцами. Лязгают неподалеку железнодорожные составы, идут обозы с мукой и зерном, набивая тугой денежный мешок далеко не робкой «столицы Поволжья»... чадят заводские трубы... Но сквозь этот гвалт, пыль и ожесточенно кипящую деятельность — манит опять же она, каждой волной шепчущая о воле и вольнице, неподвластной суетной толчее и цепкому расчету. Пусть вблизи Волга и иная — разная, иногда грязно-серая, с мутной, белесой пеной на поверхности, но даже закрой глаза — волнует этот запах, плещущий звук, тянущий душу холодок...

Справа на горизонте высокий берег синее крутой горой, и ее линия врезается в Волгу прерывистым спуском. Виктор знает, что это Увек, где, как рассказывал отец, стоял когда-то золотоордынный город и где до сих пор мешками собирают вымытые прибоем серебряные монетки, чеканенные непонятной вязью... Увек — век — вековой... — словно эхом слышится в названии... А слева от Увека — от дома же выгребать надо вправо, вбок — вожделенная цель их путешествия: лежащий большой подковой остров, поросший осоком и густым тальником. Как он притягивает их, раздобывших на берегу лодку плац-парадных «казаков-разбойников», и само имя его чего стоит: Казачий!..

Возвращались поздно — измотались и промокли, попав в дождь и сильную качку. Ох, и достанется от матери, хотя уж лучше самим предусмотреть наказание и молча разойтись по темным углам, уткнувшись носами в стенку. Но в глазах долго стоит одна и та же картина. Качаются на свинцово-синих волнах чайки. Узким красным языком дразнится флаг на дальней барже. И на зависть ему вздувается легким белым парусом мамина простыня. Чайка отшатывается в небо и падает, перевертываясь в полете.

3

Двадцать лет спустя художник Мусатов попытается выразить в белых стихах состояние приближающегося вдохновения: «Тоска меня мучит, музыкальная тоска по

палитре, быть может...» Где же и когда подошло это томительное ощущение к нему впервые? И к кому — к тому-то непоседливому сорванцу, какой словно нарочно старался показать, что ни в грош не ставит свою болезненность, свою печальную «особость»? Да, за внешней живостью, за азартным выхлестом энергии, позволявшей набрать обилие впечатлений, — изначально существовала особого рода живость внутренняя, когда тот же мальчик становился задумчиво тих, сосредоточен и как будто грустноват. «Все-таки порой он как бы уединялся», — подчеркивая жизнерадостную натуру брата, вспомнит Елена Мусатова. И не угнетенность болезнью, не обидные — и редкие, впрочем, — словечки вроде ласково-усмешливого «горбунчик» вдруг замыкали его в самом себе... Его «тоска» и была преимущественно врожденно-музыкальной силой с еще неясным, но непреодолимым стремлением даже самые первые «впечатленья бытия» как-то связать и понять в узоре, в единой мелодии. Но для этого надо было сначала чутко воспринять каждую отдельную «ноту», интуитивно-тонко определить тональность разбросанной по миру окрест и совсем не слитой в гармонию красоты. Конечно, великое дело наследственность: несомненная даровитость аккуратиста отца, художественные наклонности рукодельницы-матери, их навык и пристрастие почти щеголевато одеваться и скорее эти наклонности — по коноплевской линии, ибо дед Гаврила Васильевич, видимо, рано скончавшийся, если судить по тому, как сложилась жизнь Дуняши, был не только гжатским мастером-золотопечатником, но и писал портреты. Один из портретов его работы долго хранился в мусатовской семье.

Впечатлительный, мягкий характер и выработанные воля и упорство сформируют личность Виктора. А пока проявляются эти качества совсем по-детски и вроде буднично. Мальчик остро жалеет любого бродягу и стремглав мчится в дом, требуя помочь пришельцу. Увлекается вышивкой и терпеливо сидит над пальцами наравне с сестренкой. В предпасхальные дни, совпадающие с порой его рождения, лепит куличи и бабки, так искусно раскрашивая их сладкой цветной массой, что соседи, являясь с визитом, ахают от зависти... И еще тяга — неодолимая — к зеленому миру природы! И как кулинарное и рукодельное искусство, шла эта любовь к земле, к живому, даримому ею чуду — от той же Евдокии Гавриловны.

Сразу при переезде в свой дом занялась мать разбивкой при нем сада. Накупила больших кустов и саженцев, наняла землекопов, и закипела на пустыре за домом веселая работа. Витя и Груня следили, как рыли ямы для деревьев — с землей выбрасывали рабочие то позеленевшие монетки, то оловянную посуду, а то, бывало, и кости. И вот уже на глазах потянулись вверх серебристые топольки, пошла разрастаться белая акация, и сладкий аромат ее смешивался по веснам с густым запахом сирени, глядевшей в окна их детской. Местами зазеленел дворик мягким бархатистым ковром — «мавританским газоном», как называла его мама. В глубине двора посадила она даже сосенки, но лишь одна принялась... И беседку соорудила Евдокия Гавриловна — натосковалась, видно, по своему уголку, по своему хозяйству — беседку высокую, шатром, из простых тонких дранок, по которой пополз, перевиваясь стеблями и солнце застя разлапыми мягкими листьями, дикий виноград. Славно было сидеть своим мусатовским мирком в самое пекло здесь, в узорной тени, пить чай из пытящего самовара и лакомиться малиной, крыжовником, черной смородиной.

При любом садовом времяпрепровождении тут как тут оказывался проворный Витя. И не только кататься мастер, но и «саночки возить» не прочь — первый, где цветы выращивать, саженцы прививать. «Садовод» — так прозвали его домашние. И дочери милы Эльпидифору Борисовичу, особенно Леночка, самая младшая, ласковая тихоня, но сын остался для отцова сердца любовью первой и трудной...

Из должности вернувшись, опустясь в кресло, разглаживая большую, надвое расчесанную бороду — в то время, как под тихий говор и звяканье посуды за стеной накрывала с дочерьми на стол Евдокия, — смотрел Эльпидифор в окно на стриженный затылок сидящего на корточках перед новой цветочной рассадой своего маленького Садовода... Уж куда и как идти такому-то в жизнь? Вопрос, правда, он, Эльпидифор, уже предрешил — нашел вот Виктору и Груне домашнюю учительшу хорошую — Катерину Никифоровну. И собственным примером решил взять. Пройдя «шахматовскую» выучку, чиновниками управления уважаемый, с детьми, пожалуй, что он и больно суров. Да Дуняша знает, отчего «суровость» — от мягкости все... Строго проверяя по утрам, как детьми выучены уроки, припоминал им при случае Эльпидифор, как сам грамоту одолевал, как еще при ста-

ром барине силится постичь иные языки — французский и немецкий...

С Дувяшей мирно порешили: девочкам и без большого образования можно, участь женская особлива... А Виктору почва нужна тверже твердого. Тут уж либо гимназия, либо, что скорее, училище реальное подойдет. Туда, помимо дворянства, их брату, мещанину, двери пошире открыты... И парнишка не без способностей... Эльпидифору вспомнилось, как еще года четыре тому увидел он забавные Витины карандашные каракули — все паровозики, тянущие вагоны, взял и купил тогда сыну карандашей и красок... И вот, поди ж ты — бывает, не оторвешь десятилетнего мальчишку от рисования... Ну да и все же пора, пора, все — чередой своей... Да и многие пменитые горожане и почтенные «их степенства» наследников в реальное отдают, и непременно — в 1-е, в Александро-Маринское... Мальчик хворый, что ни весна — худо себя чувствует, а праву живого — каково одно на другое наложится?

...И живость его странная: то возится с голубиной почтой, воздушных змеев с крашеными хвостами и разноцветные шары запускает, то в легкомыслии до нехорошего озорства дойдет — вроде как уговорит Агриппину зимой, в мороз, амбарный замок лизнуть, то вдруг — вот этак часами может на какой грядке с петрушкой тихо сидеть, пока не окликнешь... И попал взгляд Эльпидифоров на картиночку в темной рамке, в углу. Ловко все же тушью нарисован зимний пейзажик! Как же не радость: с год назад на именины отца был тот подарок, и, не скрывая удовольствия, светлея лицом, указывает он теперь гостям на маленький обрамленный листок бумаги: «Вот... Это вот мне Виктор презентовал!..» И Эльпидифор с еще более непонятным чувством вновь начал подсматривать за сыном: все так же недвижен светловолосый затылок, так печально-знакомо ушедший в плечи — короткие волосики белеют на закатном солнце... И чего же он там сейчас нашел? Какие такие тычинки или венчики... Во что может натура такая развиться?.. Нет, ей — чего покрепче, узду надежную, основу — попрочнее...

Мерно плывшие, трезвые эти мысли не остановились, ткнулись, как лодка носом — в песок. Виктор оглянулся внезапно. И не понять, не представить даже, сколько тайной радости просверкнуло в узковатом разрезе его глаз!..

«Милые, кроткие, внимательные и зоркие глаза, которые как будто смотрят в глубь предмета...» — спустя четверть века их сразу же узнает на фотографии художника Борисова-Мусатова, раскрыв первую книгу о нем, бывший саратовский реалист, писатель А. М. Федоров. Из глубокой дали глянет этот взор — и случится чудо. И собственный первый день в реальном, и лица почти всех собравшихся в классе тридцати восьми человек окажутся для Федорова по-особому памятны благодаря образу одного соученика — Виктора Мусатова:

«Помню, что он в первый раз пришел в класс уже после молитвы. И все сразу обратили внимание на эту крошечную горбатую фигурку, с слабо, несколько назад посаженной стриженной головой...

Конечно, все глаза невольно обратились на него, и, вероятно, он смутился, потому что присел где-то на первом свободном месте, на одной из задних парт.

Но директор подозвал его к себе, ласково положил ему руку на голову и сказал приблизительно так:

— Ты меньше всех, так садись тут вот, поближе, а то не увидишь ничего.

И указал ему место на первой парте подле кафедры... Своей трогательной лаской старик директор как будто призывал и нас относиться к бедному мальчику бережно и деликатно и не обижать его...»

И бывшего ученика Саратовского реального училища вновь тянет взять в руки небольшую брошюру, чтобы взглянуть на поздний фотографический портрет: «Я лично узнал бы Мусатова по глазам. И когда я закрываю нижнюю часть его лица, измененную бородой и усами, я еще яснее вспоминаю все его черты и говорю себе: это он».

...Да, это он чувствует на темени теплую большую ладонь господина директора — седовласого Петра Васильевича Мерцалова и, не заметив при выходе из дома мучительно-долгого провожающего взгляда матери и подчеркнутой строгости отца, съезживается под взорами таких же, только разнорослых, мальчишек и слышит свое

имя — среди их имен, учеников второго класса основного отделения: «...Грандковский Евгений!.. Готовицкий Николай!.. Татищев Алексей!.. Мусатов Виктор!.. Федоров Александр!..» Это первый его жизненный «круг» и первое, хотя и ненадолго, общество. Он не замечает и не станет еще долгое время задумываться над «дворянским» звучанием одних фамилий, купеческой «славой» других — хоть у того же Петра Парусинова и прочих, меж коими затесались представители средних и даже низших сословий, такие, как он — мещанин Мусатов или сын цехового Федоров...

При всем демократизме открытого восемь лет тому Александро-Мариинского реального училища состав его учеников — отборный: отдавать сюда сыновей столь же принято, как и устраивать девочек в старейшее и привилегированное учебное заведение города — Мариинский институт благородных девиц. Классом выше Виктора учится будущий художник Федор Корнеев и уже готовится к выпускным испытаниям ученик седьмого класса Николай Россов — известный впоследствии местный художественный критик и публицист. С обоими этими людьми окажется переплетена жизнь Виктора Мусатова.

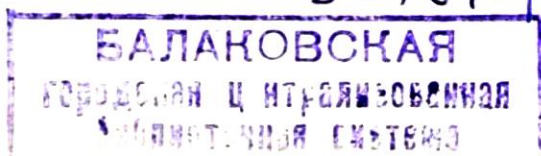
Как нов этот шумно-уютный, сияющий свежей побелкой и краской, полный внешних строгостей и скрытых веселостей училищный мир, где в общих ведомостях «баллы с дробями» — за успехи, внимание, прилежание и поведение, за обозримыми оценками полускрыты характеристики кондуитных записей, а за ними — совсем скрыты от взоров учащихся и родителей протоколы педагогических советов и годовые отчеты. А уж за теми — и вовсе недоступные для мальчишеского уразумения, веют зимним холодом, сыплются снегопадом в канцелярию самые грозные бумаги: секретные циркуляры попечителя Казанского учебного округа.

В актовом зале реального училища, как и повсеместно, служат службу в сопровождении церковного хора — в полугодичный и годичный дни по кончине «в бозе почившего благочестивейшего государя императора Александра Николаевича», убитого в марте бомбой. Конфиденциальные циркуляры сыплются на директорскую голову... В одних сам министр народного просвещения требует в настоящее «трудное время смут и наружного пагубного давления на учащуюся молодежь» проявлять «единодушие, твердое, благоразумное действие для постепенного восстановления порядка и тишины», воспитыва-

вать «привычку к законности и труду», охранять занятия юношества «от посягательства на спокойное их течение». В других — предписания о лицах, которые не должны быть допущены к педагогической работе, и об учениках, уволенных из учебных заведений. Дан и перечень возможных обвинений: «за принос в класс выписки из сочинения противоправительственного содержания», «за сношение с политическими ссыльными» (а ведь их-то сколько в Саратове) и вообще «по политической неблагонадежности»...

А пока неосознанно для мальчишек тяжелыми волнами накатываются на страну «года глухие», им дела нет до секретных циркуляров. Скоро все их будущие преступления: обманы, курение, дерзкие ответы распределятся по соответствующим родам наказаний: карцер на несколько часов, арест до вечера, карцер с одиночным сидением, выговор классного наставника или инспектора перед классом или просто «отделение от общества товарищей без лишения свободы»... Поначалу не до шалостей — уж очень трудно дается многим учеба, в том числе и самому маленькому ученику, хотя и подготовленному дома для поступления сразу во второй класс. «Кривая» мусатовской успеваемости по всем предметам ползет все ниже, и вряд ли она «вывезет»... Одно облегчение — когда в дверях появляется высокий, круглолицый и седоусый Федор Андреевич Васильев, учитель рисования. Классу он кажется стариком, хотя ему всего-то сорок шесть годков... И начинается рисование геометрических фигур с проволочных моделей, зарисовка с натуры геометрических тел, а затем изображение этих тел и комбинаций из них — по памяти... Нет большего счастья для Васильева, если пыхтишь над этими скучными композициями, и нет большей обиды, чем когда уличен кто-то в пренебрежении к рисованию.

Однако никому добряк не ставит двоек — как же тут не стараться? Особенно после потрясшего всех случая, когда увидели нарисованный для училища портрет Пушкина. И это сделал их Федор Андреевич?.. Будто напечатан портрет! Но при всей мягкости своей Васильев справедлив, и директор школы лучшей похвалы ему не подберет, как та, что уроки он ведет «строго согласно с учебным планом». И, как Виктор ни старается на васильевских уроках, а все ни разу за весь год не поднимается до отличной оценки! Средние годовые баллы по рисованию ему выводят: за внимание — 4, за прилежание — 4,



а за успехи — $3\frac{3}{4}$... На экзаменах Мусатов получает двойку по русскому языку. А по самым страшным для него предметам, арифметике и немецкому, экзаменационный балл — единица! Постановлением педагогического совета Виктор Мусатов оставлен во втором классе.

Нет, не в «бездарности» и даже не в рассеянности причина, а в том, чего так и побаивались домашние, — болезнь подводит. За одну четверть мальчиком пропущено более шестидесяти уроков, у других столько разве за целый год набегало!

Зиму и весну с 1882 на 1883 год он болеет меньше, но целый месяц все-таки выпадает опять. В новом классе он сразу сближается с самыми резвыми и уж, конечно, далеко не отличными учениками, в особенности с Александром Захаровым. Ну и что с того, что долговязый Санька, которого дома дразнят за рост «Савястым», не кажется педагогам толковым и сообразительным, зато какой надежный друг!.. Не оттого ли первый и последний раз «отличился» Виктор и по поведению? Подводя итоги первой четверти, борясь с разболтанностью реалистов, педагогический совет, среди прочего, определил дать по поведению балл 4 — «за шалости, за невниманье» — Мусатову Виктору.

И для заядлых шалунов и смутьянов тихоня Мусатов — «свой». Федоров не сможет вспомнить ни одного случая, когда больной мальчик был кем-то обижен: «Да в отношении к Мусатову всякая подобная выходка была бы прямо гнусностью. Сам он, несмотря на бремя, возложенное на его детские плечи, был великолепный товарищ, всегда отзывчивый и даже, насколько я помню, веселый, что придавало особенную трогательность его маленькой фигурке... Он мог бы быть стройным и сильным, как другие. Он знал это и, однако, никогда не жаловался, не злился на жизнь, обошедшуюся с ним чересчур жестоко...»

А дома он мог взять свое сполна за многие часы «примерного» поведения и классной тоски. Родители мягко относились к вспышкам его проказ. Иные из них носили теперь «научный» характер. Их реалист увлекся опытами по физике и заявил домашним, что проводит для них электричество. Иногда на экспериментах присутствовали жившие неподалеку школьные товарищи, но чаще Виктор звал Груню и крошечную Лену и, подзадоривая, уговаривал приложить пальцы к «электрической

машине». Большая бутылка, чем-то обмотанная, вращалась на стержне между двух деревянных стоек, при трении с легким потрескиванием выскакивали белые иголочки. На хныканье Груни мчалась Евдокия Гавриловна. Но однажды «художества» сына завершились визитом городского. Виктор умудрился размалевать краской морду Мухтара, и дворовая собака превратилась в пугало: брови черные, глаза обведены фиолетовыми кругами, усы красные и зеленый подбородок. Как-то натянул озорник на пса свои брюки, форменный, с пуговицами, мундирчик, привязал на голову фуражку — и спустил с цепи. Визжа от восторга, Мухтар понесся по улице, пугая детей, изумляя округу, пока не был изловлен и опознан блюстителем квартального покоя...

Куда легче осваивать программу вторично, и в учебе намечается сдвиг к лучшему, но все равно еле тянет Виктор на двойках «с дробями». На экзаменах по русскому и немецкому снова «срезался». Летом подвергается переэкзаменовке и кое-как переводится в третий класс!.. Единственная пятерка на экзаменах — по рисованию.

Еще с конца прошлого года Федор Андреевич начал примечать Виктора. Вообще-то первым, чем прославился маленький Мусатов в училище, оказались не рисунки, а карты, какие велено было раскрашивать дома к уроку географии. Класс диву давался: «слепая» контурная карта у всех так себе расцветчена. А у Мусатова — прямо картина! Ярким синим насыщены глубины морей. Побережья и заливы обведены по контуру. Оранжево-коричневые горы рельефны, словно и впрямь выступают над плоскостью листа, густо зеленеют меж ними лесные просторы. И все так чисто, весело, что поневоле допытываешься, как бы научиться такому искусству. Однако у самих не получалось, и «по секрету» просили Виктора помочь. Но географ, едва развернув такую карту, лукаво улыбался и объявлял: «Это сделал Мусатов».

И Эльпидифору Борисовичу карты те нравились — вот и не знаешь, где оно пригодится, бывшее Викторово сидение с пальцами и шелковой нитью, вдетой в иглу... Поэтому и на черчение, и на чистописание, и на разные васильевские «геометрические тела» усидчивости мальчику было не занимать. Но как-то в конце неудачного для него прошлого учебного года одноклассники увидели принесенный Виктором рисунок комнаты с мебелью.

Столпившись, как ранее перед пушкинским портретом работы учителя, тут же «доложили» ему о своем восторге. Федор Андреевич попросил показать рисунок. И залюбовался. Быстро расчувствовавшись, он попросил ученика Мусатова отдать ему рисунок на память. С того дня и пошли у Виктора в новом уже учебном году почти сплошь отличные баллы по рисованию.

2

Державным взмахом руки, который будто и не растаял в воздухе, а незримо остался в нем, приросли некогда к городу бескрайние речные и заволжские пространства, какие только вмещал окрест, с высокой кручи Соколовой горы, изумленно распахнутый взор... Сколько раз сюда ни взберись по желтовато-сыпучим склонам, захлебнешься ветром, радостью и волей, оставив под собой тучи голубей над всеми крышами и крестами колоколен, охватишь в синеве, слева, потекшее к югу расплавленное серебро Волги — и душой, нутром воскресится тот царственный жест. Не однажды слышал Виктор, как, взъехав на Соколову гору, подарил Саратову Петр все обозримые земли, «с лещы, угоды, сенные покосы и рыбные ловли». И среди того распластанно-огромного, что весело закогтило государево око, — был и большой, вытянутый вдоль северной городской окраины остров, который позже пожалован будет саратовскому воеводе Беклемишеву. Вот он, остров, — совсем недалече, спуститься к Затону, по той обжитой людьми и обращенной к реке крутизне, где годом позже рождения Виктора случилась беда: страшный обвал горы, потащивший, исковеркав, вниз все понастроенные домишки. Между берегом и островом совсем неширокая протока. Был тот остров Беклемишевский, теперь — просто Зеленый...

«И любили же мы этот остров! — вздохнет спустя годы Александр Федоров. — Кажется, не будь его, в нашей юношеской жизни осталось бы пустое место. Это был светлый, радостный оазис наших, в сущности, тяжелых, однообразных и скудных дней школьного периода... Особенно хорош он был в мае...» Будто бы вчера были поездки туда мальчишек-реалистов с ночевкой: ждали их волжские закаты над буйством трав, запах фиалок и белые от ландышей поляны, неумолкающие соловьи, плещущая в заливах рыба... Сон у костерка на пропахшем дымком валежнике.

Весело плыть на остров удалой командой и, потеряв из

виду золотой купол красного собора и распадок Глебучева оврага, где, как в двух пограничных враждующих государствах, живут «мещане и горные — народ беспокойный и буйный», возбужденно — под звуки дальней шарманки — обсуждать, на чьей стороне, «горных» или «городских», предстоит выйти на уличные бои с гимназистами. Весело услышать, как вдруг разорвется воздух двухголовым ревом парохода, огибающим песчаные отмели, и, вслушиваясь в шлепающий стук колес и идущий вслед за плюханьем длинный шум волны, пойти на спор, какой пароход проплыл. Весело, но все чаще и чаще отправляется Виктор Мусатов на Зеленый остров в одиночку.

При виде огромного, движущегося, искрящегося зеркала — особенно когда не отхлынуло внешнее половодье и часть острова затоплена — словно вся небесная синева опрокидывается в тебя. Волга, голубая на солнце, с дымчато-зелеными островками. Стоит отгрести от берега, сразу охватит знобко-волнующая прохлада. Уходят назад, по левому борту, прямые, узкие, как свечи, тополя, начинаются террасы и обрывы — уходит саратовский берег, гористо тянущийся, в неровных осыпях, видных сквозь курчавую кустарниковую зелень, взбирающуюся по склонам.

Иногда попадаете навстречу лодка под белым, туго трепещущим парусом. Молочная голубизна воды у берега — в набегающих полосках прибоя. Глядят из воды голые ветки затонувших кустов, за ними островной бережок с чуть покатым срезом, к которому прикорнуло несколько лодок. Выше начинается ровное зеленое поле, на котором группами, слева и справа, стоят играющие серебром на ветру большие ветлы. В глубине поляны несколько деревянных домиков, а уж дальше идут во все стороны от этого прогала настоящие заросли, тенистые кущи. Ветлы, тал, куга.

Полный нетерпения, Виктор выпрыгивает на песок, из которого торчат тонкие, в мелких узких листочках побеги ивняка и жилистые длинные корни, заросшие прошлогодним илом.

«В детстве он был для меня чуть ли не «таинственный остров». Я знал только один ближайший его берег. Он был пустынен, и я любил его за это. Там никто не мешал мне делать первые, робкие опыты с палитрой». В лаконичной поздней записи мусатовского дневника так мно-

го сказано! В этих строках становящийся в его самосознании характер, стремление научиться открывать и видеть свое — в малом, в «ближнем берегу», тренировать волю и воображение ограниченностью возможностей. И еще — первое его свидетельство о том, о чем судить мы не можем: ранние, «робкие опыты с палитрой» не сохранились. Но от тех одиноких поездок осталось ощущение неразгаданной тайны самобытного творческого начала.

Почему же ему самому казался остров «таинственным»? В определении этом не просто обычная для подростка дань книжной романтике. Не потому уединялся он там, как, бывало, поверхностно-просто объясняли, что стыдился несчастного своего вида. Болезнь болезнью, и все же не от нее отсчет его художнической судьбы.

Люблю ваш сумрак неизвестный
И ваши тайные цветы,
И вы, поэзии прелестной
Благословенные мечты!..

«Тайные цветы» — «тайный труд» — «тайные стихи» — «тайная свобода» — по-пушкински все выстраивалось и для саратовского мальчика. Нет, не ущербность юного мизантропа влекла Виктора на пустынный берег, а светлая открытость миру и красоте, предчувствие «своей» тайны. В изувеченном болезнью теле худенького реалиста подрастала душа поэта, а для «благословенных мечтаний» всякой поэзии нужна не только любовь, но и «тайная свобода».

Можно только «вычислить», представить те первые пейзажные этюды — неумелую масляную живопись, где тщательно-дробно и крупно прослеживались формы растений и трав: узорочье зеленого мира, из мотивов которого когда-то возникнут и зазвучат у зрелого мастера тончайшие цветочные симфонии. И зеленоостровская тайна проглянет тогда в ясной глубине его искусства, что без труда обнаружит все тот же товарищ мальчишеских игр Федоров: «У Мусатова душа была синяя и прозрачная, как весеннее небо... оттого и во всех его картинах синий тон сквозит, как нота *lá* во всех голосах природы...

И, глядя на это синее, молодое небо — среди белых облаков, которые любил изображать Мусатов, мне вспоминается разлив Волги, Зеленый остров, куда мы ездили с ним на лодке детьми. Зеленый остров с долинами в лесу, белыми от ландышей, как будто облака упали с неба в траву и притаились там».

И нельзя отплыть по стремительному течению мусатовской жизни, не оттолкнувшись веслом от бережка Зеленого острова...

3

И еще более ранняя сказка детства была — хмелевская. Складывалась, начиналась она и от идущих со всех сторон рассказов о шахматовской старине, и от первых собственных, почти незапамятных, поездок в Хмелевку — к дяде Моисею (когда точно умер почти столетний дед Борис Александрович, первый владелец мельницы, неизвестно, но Виктор его уже не застал).

И смутно-волнующим был контраст: свои впечатления — светлы, радостны, — все вокруг в зелени, в солнечных узорах и пятнах теней, просвистанное птицами на все лады, а сказания местных жителей, в которых не все и понятно, — такие, что сердце ухало в мрачную глубину.

Зато при каждой поездке сюда дети чувствовали — сердце Эльпидифора Борисовича «разгоралось», глаза молодели и, обводя ими округу: высокий волжский берег с Большим островом почти напротив старого села, дорожку, какая вела к нему через сады, отец возбужденно твердил, что вот оно где, вот откуда — весь род их и вся судьба мусатовская произросли.

И словно теплым летним воздухом веяло на Виктора от родных хмелевских названий: Колотов и Буркин буграки, Суходол и Дубрава... И, где бы ни бывал, повзрослев, а встанешь в сенокосную пору у сметанного стожка и, не зажмуриваясь, перенесешься — именно в Хмелевку! Запах детства — запах лета и скошенной травы. Сколько вокруг сладко и горько пахнувших трав, сколько стеблей, нагретых солнцем, сколько летучей мелкой живности, впивающейся в цветы... Травостой так силен, что лезвие косы тупится, охваченное цепкими выюнами. Косить начинали здесь на островах в пору, когда Волга еще не вся сошла с лугов. Но смутно помнилось мальчику и иное: золотые хоругви на белом небе, пение на полях. Молебны о дожде не помогали — паханная плугом земля суха, и не всходят яровые, и рожь — в самую-то пору налива — не дает хорошего зерна...

Идешь с отцом за руку — видишь: всякий с ним раскланяется, и отец каждого знает — от полесовщичков до

плугарей, не говоря уж о бывшей шахматовской дворне: то ключник Иван навстречь, то скотница Аграфена, то караульщик Афанасьев (это его колокол таким густозвонким голосом откликается из караулки), то бывший барский конторщик Добросердов... Или бредет один из самых вековых и почитаемых жителей села слепой Марсов — бороду отметаёт ветром, и на рубахе тускло светится какая-то медалька: отец поясняет, что старик этот еще французов, горе-завоевателей, помнит, как на Русь сам «царь» французский Бонапарт нашествие делал, а за то деду Марсову от его превосходительства всегда уважение было...

Но французы мальчика не интересуют. Что там какой-то побитый Бонапарт, когда холодеешь от давней, но куда более близкой поволжской были... И, подрастая, Виктор вместе с другими ребятами все острее поглядывает на другого древнего деда — Шарыпку, ему и Марсов, говорят, в сыновья годится! Да неужто взаправду дед Шарыпка сам видел того, чье имя здесь, в Хмелевке, и ныне произносят, сбавляя голос и загадочно глядя в сторону?

Порой, накупавшись всласть и уже выбравшись на берег, к околице села, Виктор, замирая, проходил мимо стоявшей у церкви большой часовни-склепа — господской усыпальницы. «Голубец» — так отец называл ее. И, оказавшись в старом усадебном дворе — на краю оврага, где между хозяйственными постройками остались только два каменных флигеля, окруженных сиренью, слушая сдавленно-тихое гурлыканье горлинки, Виктор отводил глаза и все же — что поделаешь — смотрел, смотрел на темный, могучий ствол столетнего вяза. И как во сне — не хочешь, а вскрикнешь — в голове вдруг восторженно-жутко отзывалось звучание имени, которое не хотелось, боязно было произносить: «Пугач!»

И сразу вскипал охвативший со всех сторон берег оврага высокий чернокленник, сдвигались в ряды огромные, все помнившие дубы, чтобы сквозь заросли крапивы шагнуть — на присевшие белые флигеля.

Стоял однажды поутру на Соколовой горе другой «царь» и другой Петр, а по-мужицки сказать — сам «Третий император», стоял, не любуясь Саратовом-городом, а просто наведя на него все двадцать своих пушек. Через три дня после захвата Саратова сокрушительный вал

«пугачевщины» покотился далее к югу и в миг докатился до тихой зеленой Хмелевки. Что произошло следом — никогда уже не изгладилось из памяти хмелевских поколений. И двадцатидвухлетний Шарыпка, все эти поколения связавший и переживший, к тому что сам помнил, добавлял непременно подробности, слышанные от матери, тоже до ста двадцати дожившей. А реалисту Мусатову тринадцать лет — ровно столько же, сколько было деду, когда смотрел тот на носившего страшное имя, по рассказу — невысокого, кареглазого да бородатого человека...

Все поражало мальчишеское воображение! И конечно, так и неотысканный сундук с драгоценностями, зарытый в Малом саду на речке Артамоном Лукичом Шахматовым. И рассказ про то, как прятался владелец усадьбы на Большом острове в талах, пережидая нашествие... Да не рассчитал. Двинулись «смутьяны» к Царицыну, а следом-то другие шли. И повесили Артамона Лукича среди двора на старом вязе.

Вот и был у Шахматовых, можно сказать, семейный культ «пращура-мученика», и в день гибели Артамона Лукича после панихиды в «Голубце» продолжали ставить под тем же самым вязом бочки с вином и столы накрывать для поминального обеда. Всех звали! И дворовые и крестьяне всем миром собирались в разговорах о родной старине.

На мягкую мураву хмелевского двора выносила ключница для просушки тюлевые чепцы с оборками, бабочками и бантами. Вынимались, «помимо бабушкиных нарядов... из сундуков и шитые золотом камзолы, и невероятно странные, тяжелые, неудобные военные головные уборы, кивера, конногвардейские башни...». Заходя с отцом в усадебную контору, нельзя было не засмотреться на висевшие по стенам портреты конца восемнадцатого века в потускневшем золоте рам, с которых то строго, то добродушно-насмешливо, то задумчиво-меланхолично смотрели бывшие владельцы тех самых чепцов с бантами, салонов и душегреек — загадочные шахматовские «бабушки». Да и потом, когда вывезли из проданной так и Хмелевки эти портреты в саратовский дом и в другую усадьбу — Губаревку, куда Эльпидифор Мусатов продолжал наезжать, как же было не увидеть их его сыну!

Вывезли также весь семейный архив и восемь пушек на зеленых лафетах, забытых в усадьбе налетевшими пугачевцами. Но нельзя было вывезти «хмелевских сказок»,

исторических преданий, которыми продолжала жить вся округа. И позднее, уже в юности и в пору его возмужания, с какой-то тайной радостью будет ехать Виктор в гости к дяде Моисею, хотя дружить-то более будет с другим дядей, Матвеем Борисовичем. Не просто в гости к детству своему станет он сюда приезжать, а в особый, заповедный его уголок.

Тенистый дол и шум воды у мельниц, раздольный вид с берега Волги. Мерно-спокойный голос Шарыпки — и маленькая дегская рука, боязливо дотрагивающаяся до позеленевшей и прохладной меди пушек. Зеленый остров чудесно определял его будущую палитру. Хмелевка — с «патиной времени», со страшноватым и незабываемым очарованием ее старины — дарила поэзию былого. Не «историей» строгой, солидной, запечатленной в книжных томах — Былого...

4

Домашний круговорот шел своим складом и ладом, дружно жили. По вечерам после ужина собиравлись за чтением и за разговорами. Авдотья Гавриловна — соседи и родня в письмах мать Виктора чаще Авдотьей звали — все рассказывала о смоленской молодости, о семье, из которой вышла. Теперь дети знали, что все матерны дяди и тетки купцы были, владельцы мануфактурными лавками.

Защелкивая маленькую серебряную табакерку, преподнесенную сослуживцами в год, когда сын пошел в реальное, открывал по вечерам Эльпидифор Борисович аккуратно сшитые тетрабочки со списками творений русских поэтов. Недаром любил он и в письме щегольнуть к месту цитаткой. Волнующе-памятны были ему эти тетрадки. Иные, еще 1830-х годов; невесть где раздобытые Эльпидифором и сделанные разными местными чиновниками списки с поэм Лермонтова, рылеевских «Дум», стихов Пушкина, Жуковского. А собственной работы тетрадки — уже годов шестидесятых — делались не без помощи библиотеки Шахматовых; а у тех какие редкости в доме бывали! Держал, надо думать, в заветном ящике стола Эльпидифор Борисович списки стихов, над которыми оставил пометку: «Запрещенное в России, исправленное по книге «Потаенная литература» в Крейцнахе, 1865 года 1—13 августа». Да и у Трироговых в доме было это огаревское издание. Много общего в натурах окажется у отца и сына: та же любовь к поэзии, страсть к писанию

писем, забота об оттачивании своего «стиля» — вплоть до виньеток и завитков в росчерке.

А что хорошо детям вечером почитать — так «Руслана» или «Громобоя». Бережно неся на ладони такую тетрадочку к столу в гостиной, иногда и важно погрузнеет отец, припомнив адреса, по каким с баринном жили они за границей, тщательно выговаривает красивые нерусские названия: в Берлине, скажем — «отель де Ром», в Париже — «отель Принс» на рю Луи де Гран...

И общественной деятельностью, хоть и должность невелика, стал в ту пору известен в городе отец. И жили ни бедно, ни богато: помочь кому из родни справиться к зиме теплую одежду Мусатовы могли, но трудновато обстояло, к примеру, с уплатой за учебу сына. За несвоевременное внесение денег несколько раз исключали Виктора из училища и восстанавливали вновь. Но, в общем, мирно и ладно шло мусатовское житье.

В одну из ночей перебудил Эльпидифор Борисович домашних: детям велел одеться, а жене — собираться в дорогу. Вытаращили глаза ребятишки, младшая Леночка расплакалась. И мать удивленно пыталась отца, куда и зачем едут-то. Ничего не объясняя, твердил Эльпидифор, что поезд скоро уйдет, и все требовал торопиться. Что ж это, господи, аль приспилось ему, что за притча, — начала тревожиться Евдокия Гавриловна и вновь попыталась добиться пояснений. Но за всю жизнь ласковый с нею муж кричал, что зарежет ее немедля, коль ослушается. Дети высыпали из кроватей и с плачем собрались на крыльце. Нет, не спросонья разгулялся Эльпидифор Мусатов. Украдкой, враз притихнув, взгляделась в него Дуняша — и теплыми слезами облилось лицо. И муж тоже стих. Сидел вяло, мешковато-грустно опустившись в кресло, быстро задремал, уронив большелобую облысевшую голову.

Через некоторое время, ночью же, все повторилось. Дальний гудок слышал Эльпидифор Борисович — призывно пели издали, тягучим скрипом на повороте стонали железные составы. Где, в какой душевной ночи сплелись страшно эти голоса с зовом твоей судьбы? Спешить, спешить надо! Уходит поезд. Ну как они не поймут! Не понимали... И вспышки отцовою ярости, и страшные утробы, заставлявшие детей на коленях молить за мать, — все, грустно сказать, становилось привычным. По знаку матери, которого ждали, одевались и отсиживались на крыльце, а сама она, чутко вслушиваясь, дежурила в сенах. Когда из комнат начинали доходить рыдания отца,

зовущего ее, мать робко входила, выслушивала очередную просьбу о прощении. Крадучись, возвращались дети в остывшие постели. Дом затихал.

Но редко когда в такую ночь сомкнет глаза Евдокия Гавриловна, а закроет — все видится ей, как, нависая над домом, растет, разрастается черная тень.

И третий класс — по тем же горьким причинам — «не проскочил» ученик Мусатов. А когда опять второгодником пришел он осенью 1884 года в реальное, выяснилось, что в училище событие: директор теперь другой! Старик Мерцалов с почетом ушел в отставку, а на его место прибыл из города Камышина молодой, эвергичный П. А. Герман. Неизвестно, как это повлияло на преподавание, но никак, увы, не отразилось на успеваемости Виктора. А вот с уроками рисования все как-то мягко, но сразу «перевернулось». Васильев ушел в другие классы, часы ему сократили, сразу оказался он оттеснен молодым учителем. Да и образование у Федора Андреевича не ахти какое: всего-то курсы в Саранском уездном училище, после которых, по представлении рисунков в академию, получил он звание учителя рисования в гимназиях.

Иная статья — появившийся в реальном еще с осени 1882 года в должности сверхштатного преподавателя Василий Васильевич Коновалов — выпускник не уездного заведения, а педагогических курсов Императорской академии художеств! Прїехавшего из Петербурга специалиста, даже продержав его два года на втором плане, старый директор оценил высоко: «Господни Коновалов, — писал он, — хотя еще и очень молодой учитель, но к делу своему относится с большой любовью и полным знанием. Можно надеяться, что для учеников училища Коновалов будет очень полезен». Проницателен был старик Мерцалов! Не то что для реального училища — для судеб выдающихся художников русских окажется полезен этот скромный учитель.

Как смотрел Виктор Мусатов на появившегося впервые нового преподавателя, в лице которого — шутка ли — вошла в класс его судьба? Смотрел, наверное, как и все. И внешность Василия Васильевича была им хорошо знакома, но теперь, естественно, взглянули на него по-другому, уже как на «своего»: низкорослый, с намечающимся брюшком, брюнет; с чуточку суетливыми, но мягкими манерами, за которыми чувствовался южный темперамент,

как ни старался он невозмутимо-деловито вести себя. Да и в смуглоте лица с маленькой темной бородкой и подкрученными усами, в блеске черных глаз было что-то южное. Голос оказался высоким, но тоже как бы «жирным», тенорком.

Виктор сидел, положив перед собой лист с пачатым еще на прошлом уроке орнаментом с тушевкой. На другом листе были завершены модели частей лица: маска — в одних только контурах. Все, что требовал по программе Федор Андреевич, он тщательно, как всегда, исполнил. Ни тени самоуверенности, ни зазнайства не бывало у него, пожалуй, но как не взволноваться когда на одном из недавних уроков так внезапно оставивший их добряк Васильев сказал громко, на весь класс: «Молодец, Мусатов. И так вот давай, рисуй, брат!.. Шесть классов кончишь — пойдешь в академию...»

Завспомнившись, не заметил Виктор, как маленькая и короткопалая рука тихо взяла его листы: обходивший класс с проверкой васильевских заданий, учитель стоял у его парты. Молчание длилось долго. И, совсем вжав голову в плечи, Виктор не знал уже, чего ему ждать. Да и класс невольно затаил дыхание. Сейчас новый педагог придет в восторг, попросит эти листы на память. У самого уха прозвучал негромкий коноваловский тенорок: «Начало хорошее. Нарисовано у вас — с любовью... Изрядно... в отношении старательности... Однако, господа, сразу прошу всех учесть главное: рисовать надо хотя бы и неточно, но художественно... Вот так-с... учесть прошу...»

Но, как ни проси, а разве вместится в разумение: что ж, неважно, значит, чтобы точно копировать, чтобы все нарисованное тщательно — до «точки», каждым штрихом передавало заправдашнюю маску или орнамент? Как же так? И за что тогда будут высшие баллы ставить?!

Начиналось что-то интересное и непонятно новое.

Оказалось, Василий Васильевич жил совсем неподалеку от них. И в тот вечер, когда он, выполняя свое обещание ученику Мусатову, впервые появился в доме его родителей на Плац-параде, сердце Виктора сразу заколотилось. Он не слышал разговора — говорили за стенкой тихо, сидел в компании с сестрами, но потом его позвали. Коновалов прощался. Как-то особо внимательно всматриваясь в него своими карими, почти черными глазами, по-

ложил руку на плечо и, еще раз оглядев вечерний мусатовский уют, торопливо откланялся. Метнув взгляд, Виктор заметил слезы на глазах матери и притихшего, словно сконфуженного, отца. «Академия... Что еще за академия...» — бормотал Эльпидифор Борисович и, чувствуя, что сдержанное им при госте раздражение может вот-вот прорваться очередным приступом, мать поспешила к нему и так же, как учитель с учеником, ласково дотронулась до отцова плеча.

Эльпидифор понимал и раньше, что все в судьбе сына клонится не в намеченную сторону; одни разговоры дома об этих коноваловских уроках — будто там, в реальном, только и делали, что рисовали. Виктор, светясь, рассказывал, что послушать Коновалова даже гимназисты к ним приходят. Что опять его учитель хвалил. Вскоре и вовсе из всего класса выделил: разрешил самому выбирать, где устраиваться перед гипсом, дал бумагу для рисования особенную — «александрійскую» какую-то. И все спрашивал, что да что он дома читает. А в ведомости за последний учебный 85-й год опять: при отличном поведении — двойки за прилежание и за невниманье. И решение педагогического совета: оставить на второй год в четвертом классе... Трижды второгодник — вот как!.. Ну а теперь, говорят, в самый раз и в академию!

Отец настаивал на совете с братьями, и семейный совет действительно поддержал его: суровее всего отнесся к племянниковой «дури» хмелевский дядя Мойсей. Почтываясь старшим в роду, храня связь с землей, некогда всех Мусатовых вскормившей, трудясь на мельнице и крестьянствуя — не мог он и в толк взять, что за разговоры такие завела Евдокия. Обиду на то, что его назвали бездельником, норовящим жить за чужой счет, — Виктор, при всей незлопамятности, помнить будет долго. Худощавый, улыбчивый, так и не женившийся «дядя Мелёша» — Емельян Борисович — в общем-то, был «не вредный», но и он подбавил масла в огонь: ценя свою службу в управлении дороги, сказал, что реальное, худо-бедно, кончать надо, а потом идти в какую ни на есть контору. И только дядя Магвей, женатый на учительнице, многодетный: три дочки и два сына (про него писал некогда старик Шахматов, что он «из себя бравый, кроткий и вполне добросовестный, только непрактичный») — заступился за Виктора.

Несмотря на серьезность противостоящей «коалиции», чуток выждав, Евдокия Гавриловна уговорила мужа. И,

уже смягчаясь, начинал тот вздыхать, как дорога жизнь в Петербурге и за границей: ведь за академией, глядишь, и дальше учиться потянет; вспомнить, как ругался в Париже старый барин, выйдя из ресторана, где за одного цыпленка 25 франков отдал, а уплатив за весь обед — сразу разорился. А тут еще по выходе — глупую картину увидел: заждавшийся Эльпидифор взял да и присел на какой-то стул — тут же баба подскочила, залопотала — велела заплатить за эту поспешку. Пришлось выложить и последние два су! «Так-то вот, друг мой Витя, по «парижам» нашему брату ездить... Только в анекдот попадешь...» Но мать повторяла доводы Коновалова: здоровышко не позволит Виктору по конторам служить, а «учитель рисования» непривычно звучит, но дело и почетное и денежное... Вон Василий Васильевич тоже академию кончил, звание имеет классного художника — и тоже в службе, чины идут: коллежский асессор, а там, говорит, в надворные, а может, и в статские советники выйдет. И до поступления Виктора обещал Коновалов сам готовить его к будущим экзаменам у себя на дому.

Отец махнул рукой. Мать написала прошение директору, с которым Коновалов, конечно, переговорил. И Виктор Мусатов как-то тихо, незаметно оставил училище.

Глава III

1

В два часа пополудни 2 июля 1885 года саратовцы, среди которых были все гласные думы, не обращая внимания на приближающуюся грозовую тучу на горизонте, дружно толпились на берегу Волги: с конторки провожаемого ими в путь до Нижнего Новгорода парохода «Бенардаки» звучал оркестр, ярко пестрели флагами выстроившиеся в почетном карауле против парохода яхты саратовского яхт-клуба... Саратов желал доброго пути профессору Академии художеств Алексею Петровичу Боголюбову, маститому художнику-маринисту, внуку Радищева, почетному гражданину города. Вместе с Алексеем Петровичем отплывали его брат Николай и тетка Камилла Ивановна Радищева. Радищевских потомков провожали по первому рангу! Энтузиазм был всеобщим: третьего дня, 29 июня, произошло долгожданное и все же удивительное событие. В России появился первый обще-

доступный художественный музей, первый в русской провинции! И открыт он был в Саратове, считавшемся, по семейным преданиям, родиной первого дворянского писателя-революционера, многострадального автора «Путешествия из Петербурга в Москву». Музей со дня открытия именовался Радищевским. Находившееся столь долго под запретом «крамольное» имя впервые было громко обнародовано: возвысить «втоптанное в грязь имя... деда» и продолжить семейное дело просвещения народа — такова была цель основателя музея Боголюбова.

Годами вынашивалась и крепла вдали от родины эта мечта патриота и собирателя произведений искусства. Глава колонии русских художников во Франции, признанный авторитет в европейских художественных кругах, член жюри всемирных выставок, Алексей Петрович увлек своей идеей — создания «народного художественного музея» на Волге — всех собиравшихся в его парижском доме на бульваре Батиньоль. Сами понятия «Саратов» и «Радищевский музей» давно связывались воедино в разговорах Поленова и Репина, Антокольского, Тургенева, Полины Виардо... Ходатайствовал и даже писал официальную бумагу Тургенев. Репин утверждал в одном из писем: «Поддержать и развить искусство может только одно: народные музеи... Пока их не будет, не будет и настоящего искусства».

Однако борьбу пришлось выдержать немалую: ожидание длилось семь лет, с 1877 года. Обер-прокурор «святейшего синода» Победоносцев прямо писал Алексею Петровичу, что все было бы куда проще, не будь у него этого самого «радищевского вопроса» (Боголюбов поставил же вопрос о наименовании музея чуть ли не главным условием). Но еще более дико, во всей нелепой своей закоснелости показали себя саратовские толстосумы, заседавшие в городской думе. Предложение было и лестным и заманчивым: помимо коллекции, оцененной в пятьдесят тысяч рублей, Боголюбов завещал Саратову все свои капиталы в размере ста тысяч рублей, личное имущество и оставшуюся часть собрания картин. Здание решено было строить на средства города на Театральной площади, но тут-то разгорелись провинциальные страсти! Пришлось местной газете выступить в фельетоне «Про белого бычка» против позорных торгашеских притязаний: «...Упрятать Художественный музей в какой-нибудь темный и вонючий переулок было бы преступлением. Образованные на-

ции, как известно, гордятся подобными зданиями и ставят их напоказ! У нас же дошли до нелепого убеждения, что прекрасное здание обезобразит площадь и скомпрометирует своим соседством засиженный галками Гостиный двор...» Торговцы боялись даже одного соседства музеев и магазинов! Боголюбов пригрозил из Франции, что готов передать коллекцию другому волжскому городу. На экстренном заседании думы были приняты все требования Боголюбова, которому тут же было присвоено звание почетного жителя Саратова.

И вот сбылось: после освящения здания, проект которого принадлежал петербургскому архитектору академику И. В. Штрому, на акте торжественного открытия Радищевского музея растроганный приемом Алексей Петрович словно забыл былые разочарования и трудности.

...Музыка продолжала играть и во все время прощального завтрака, данного Боголюбову по подписке, на борту увозившего его парохода. В просторной общей зале первого класса звучали напутственные веселые тосты. Одня из них связан был с курьезным случаем, имевшим место позавчера, когда огромная толпа в первый раз ринулась в музейные двери. Полиция пыталась сдержать напор — в результате у одного из полицейских была сломана шашка!

— А вы знаете, господа, — когда смолк смех, задумчиво глядя перед собой, промолвил Боголюбов, — знаете ли, что мне сказал Тургенев?.. — Он помолчал. — ...Иван Сергеевич заметил, что по его убеждению, что ни говори, а все-таки Саратов был и остается городом передовым... Хотя иные саратовцы и напомнили ему крыловскую историю о петухе и жемчужном зерне... Но... кто старое помянет — тому глаз вон!.. — На строгом, бородатом лице проступила улыбка. — Каюсь, господа, сомнения одолевали... Однако же позвольте лучше напомнить прекрасные слова, услышанные от вас на предыдущем праздничном обеде. О том, что, восприняв первый по мысли и по времени провинциальный художественный музей, все мы, не исключая меня, так близки к историческому факту, что не можем вообразить всех будущих благих последствий его... Повторю еще раз: существование музея немислимо без открытия при нем школы!.. Дать образование талантливым людям из народа, научить их ценить искусство и дать им средства к существованию!.. Такова, если вам угодно, господа, нижайшая просьба моя и —

завещание!.. И тогда... Пусть не сразу, пусть и после нас с вами — верю, даст Саратов России новых больших художников!..

«Ура!» — донеслось до берега, было подхвачено провожавшими. Пароход медленно двинулся в путь. И следом ярким и шумным эскортом двинулись заполненные публикой еще один пароходик и яхты, трепещущие парусами на все нарастающем ветру. Боголюбова провожали до Увека. Небо быстро темнело, предвещая бурю, и, когда провожавшие уже отстали, но за сгустившейся пеленой еще проглядывал город — громыхнули первые залпы грозы!.. Саратов салютовал «отцу Радищевского музея».

В пятнадцать лет — такое событие!.. Подробности его прослеживали по газетам: в доме Мусатовых за печатными новостями следили ревностно. И надо полагать, торжественный первый день доступа в музей Виктор видел, запомнил на всю жизнь.

Олеография, лубок, иконная торговля, «шедевры» местных богомазов... Привозные панорамы: «батальные сцены», передвижные паноптикумы: «из-за границы — новость! Египетская царица змей, движущая всеми членами, глазами, руками, грудью... с вьющимися и ползущими змеями...» О, то была теперь первобытная культурная жизнь торгово-промышленного волжского города: «домусейная», до-боголюбовская эпоха!

В пятнадцать лет он поднимался впервые по чудесной, узорной, чугунного литья, лестнице. Вазы и старинные ковры-гобелены, мебель, всевозможная утварь. Помимо большой коллекции Боголюбова, дары Эрмитажа — живописные полотна, «несколько мраморов, стекло, фарфор, мозаика», из Грановитой палаты — рисунки российских древностей, из Академии художеств — картины и этюды... Русская живопись: художники-академисты, «шестидесятники», передвижники. Брюллов и Александр Иванов, Айвазовский и Бронников, Зеленский и Харламов, Сверчков и Трутовский, Репин и Поленов... И шли по залам мужики-«лапотошники» — в воскресные дни бесплатно пускали всех, хоть обитателей ночлежек на Миллионной. За одну неделю прошло таких посетителей четырнадцать тысяч.

Коновалов двигался медленно, объясняя Виктору и еще нескольким своим подопечным, что к чему. Тут была

живая история европейского искусства — Виктор слышал имена и впервые видел: Франсуа Буше (в памяти у многих осталось, что был и Ватто!), Мурильо, Тенирс, Воуверман... Французы, испанцы, голландцы... Много было пово и для самого Василия Васильевича! Немецкие художники Кнаус и братья Ахенбахи... Но особенно французы так называемой барбизонской школы — любовное приращение Боголюбова, дружившего с этими тонкими пейзажистами. Их еще и не знали в России толком! Тем более не понимал пока Саратов, чем он обладает: Коро, Тройон, Добиньи и редчайший мастер с драматической судьбой Адольф Монтичелли, всего две работы которого именно благодаря Боголюбову попали в Россию.

Сколько раз, возвращаясь из странствий на родину, Виктор будет стоять перед полотнами «барбизонцев». Так легко вошли в знойное марево саратовского полдня и это густое, влажное дыхание нормандских приливов, и серебристый свет утра, мягко обволакивающий контуры средневекового замка Пьерфон, и палевые, золотисто-зеленоватые тона вечернего неба над водами Сены. Парижские предместья у Монтичелли: как бы размыты светом зыбкие переплетения ветвей и людские фигуры, колышутся на земле живые коричневые тени. Здесь, в этих залах, до которых пешком из дома дойти недолгое дело, произойдет первая встреча Виктора с Францией и ее искусством.

Пока же были понятнее, занимали воображение привычные жанровые сюжеты, нравились ловкость, мастерский рисунок академистов. Все было ново. Все интересно. Все непознанно.

Любопытно, что уже в первый год существования Радищевского музея там оказались выставлены кое-какие работы Виктора Мусатова!.. Еще не оставив реальное училище, начал ходить он с поздней осени 1884 года в недавно открывшуюся воскресную рисовальную школу И. Ф. Ананьева. Виктор, как и другой воспитанник реального — долговязый Федор Корнеев, сын владельцев известного в городе увеселительного «Зимнего сада», — соединял посещения школы Ананьева с постоянными занятиями на квартире Коновалова. Сблизиться они пока не успели: старший по возрасту Корнеев уже готовился вот-вот поступать в академию. 29 декабря 1885 года в музее открылась выставка картин учеников воскресной

школы, газеты особо хвалили Корнеева за его натюрморт с фруктами и убитой дичью, просто упомянув «другие картины — работы учеников Казанского, Мусатова...». Что у них была за живопись — неизвестно, но темы выставленных рисунков: «Люцифер», «Юпитер», «Иисус Христос» — достаточно выявляют уровень и тематику заданий. Ананьев подвизался как исполнитель церковных росписей. Слабый преподаватель, он был к тому же запойный пьяница, и школа его просуществовала недолго. Умер он в нищете.

Совсем другое дело — вечерние часы, проводимые в доме Василия Васильевича! В уютной большой комнате сидели, рисуя с гипсов, несколько молодых людей, почти не видно было Елены Дмитриевны — супруги учителя. Она была занята в другой части дома детьми: у Коноваловых росли трехлетний сын и годовалая дочка. Виктор смутило то, что его Василий Васильевич, как выяснилось, заранее разрекламировал и теперь объявил молодым друзьям, что перед ними — автор «того самого» рисунка с маски Лаокоона! На Виктора устремились дружелюбные взгляды: он и сам втайне гордился тем, что рисунок был отмечен Коноваловым за неожиданный художественный эффект. Он долго корпел над тем, чтобы передать поверхность маски: каждую мелкую извилистую трещинку на сером, загрязненном гипсе. Об эффекте и не думал — ювелирно вел линии, прослеживал узор, а получилось, говорят, похоже на инкрустацию!..

Когда он присел на стул, большая ручища стиснула его пальцы — широкоплечий парень, русоголовый и светлоглазый, улыбаясь, поздравил его с появлением у них в «Капернауме»... «Капернаумом» прозвали в шутку домашний коноваловский кружок. Так Мусатов познакомился с Василием Альбицким.

Кружок скорее был «клубом»: Коновалов не только учил пониманию того, как строится предмет, как соотносятся его форма и пространство листа (при этом он, как-то значительно понижая голос, повторял то, что говаривал в таком случае Павел Петрович Чистяков — любимый преподаватель по академии. И эти фразы раз за разом лепили для них образ далекого мудреца, величественного Саваофа, взиравшего зорко с облаков академического поднебесья...). Коновалов вызывал на споры о прочитанном. С ноября 1885 года он был назначен библиотекарем фундаментальной библиотеки реального училища, и Виктор начал поглощать все, что советовал Василий Василье-

вич, — книги по эстетике, по философии и истории искусства: Лессинга, Ипполита Тэна... В бумагах, тетрадках наряду с первыми записями о «свойствах» красок, о технологии живописи Виктор вел перечень прочитанной литературы. Статьи Перова, письма Крамского, журналы «Вестник изящных искусств», «Атеней»... Врожденная аккуратность укрепляла привычку «отчитываться» перед самим собой. Подтянутый, добротнo одетый Коновалов всем обликом своим давал урок, разительно отличающийся от ананьевского. Четыре года, до девятнадцатилетнего возраста, будет заниматься Виктор Мусатов под началом и опекой Василия Васильевича! И в пору мусатовской юности все отчетливее начнет проступать человеческий и художнический облик его наставника.

Родился он в 1863-м, старше Мусатова был всего на семь лет, но другая юность, другой, более мрачный, выдался ему «рассвет»... 1880-е — пора «безвременья» в общественной и в художественной жизни. Для мальчика той поры Виктора Мусатова потом забрезжит «отрадное», для Коновалова на третьем десятке — не вырваться-таки, как ни бейся. Эпоха юности, какая бы ни была, — неповторима и кладет печать на всю твою внутреннюю жизнь. С годами это понимаешь все более отчетливо. В Коновалове одни будут видеть мрачного живописца, запоздалого эпигона передвижников, другие, напротив, только удачливого преподавателя, ловкого исполнителя казенных заказов. Человека, живущего на широкую ногу. Неизвестно, любил ли он поэзию, но был с душою мягкой, обладал живостью, энергией, даже выступал в любительских спектаклях по Чехову. А с годами под внешним благополучием — чины, ордена Анны и Станислава, почет, домашний покой — начнет разрастаться что-то тревожное и печальное...

Считался он сыном священника, но в бумагах послужных указано иное: «сын мастера живописного цеха...» Начиная с картины 1891 года — «Нашли» (крестьянин и крестьянка в морге у гроба сына, пропавшего в городе, куда он ушел на подработки), подхватит было Василий Васильевич тему оскудения и расслоения пореформенной деревни. Но не крестьянская доля его взволнует, а неотступные мрачные мысли о жизни и смерти человека, о смысле земного бытия. «С какой-то жуткою страстью, — вспомнит современник о Коновалове, — он писал боль-

ничные покои и морги с простертыми на столах трупами...»

Виктор, признаться, будет потом недоумевать заодно со многими: уж очень у «Василь Василича» пахнет натурализмом. Смотреть не хочется на этих лежащих «до вскрытия» мертвых молодых девушек! И газетчик однажды разъярится: «Странная привязанность у В. В. Коновалова к этим «дохленьким» — «Уснули», «Нашли», «На больничном дворе», «Липлия» (здесь тоже мертвец) и, наконец, «Трупы» — помилуйте, ведь это целое кладбище!.. Пора бы бросить удивлять публику дешевыми эффектами и перестать бить по нервам своими мрачными сюжетами». Голосом газетчика возопит раздосадованный обыватель, привыкший смотреть на искусство как на «десерт». Но только, как ни раскинь, никогда не возникнут его полотна в погоне за «дешевым эффектом». Будет в них ноющая, неизбывная боль за человека, за проклятую неустроенность его жизни, будут свои затаенные разочарования. И опять же созвучно окажется мироощущение Коновалова тому печально-характерному для эпохи, что отозвалось в «кладбищенских» мотивах лирики Случевского. «В костюме светлом Коломбины лежала мертвая она...», «В пышном гробе меня разукрасили...» И особенно, пожалуй, характерно настроенные, главная мысль пронзительно-жуткой «Камаринской»:

Из домов умалишенных, из больниц
Выходили души опочивших лиц;
Были веселы, покончивши страдать,
Шли, как будто бы готовились плясать...

И будет этот вздох глубокий, всей грудью — за всеми коноваловскими кошмарами:

Ах, одно же сердце у людей, одно!
Истомилось, измаялось оно...

Но идут пока 80-е годы, вторая их половина. И не только ученик Мусатов, ничего-то не ведает о себе самом его первый учитель, никому (сказать бы такую дикость обожавшей его молодежи!) не кажется он «зловещим вороном». Жизнелюбец, гурман...

Василий Васильевич шутит, поправляя рисунок Альбицкого, смотрит с одобрением на Виктора, обычно молчавшего целые вечера, но вслушивающегося во все споры. Милый человек Василий Васильевич, но «чужая душа — потемки»: может, и есть изначальная трещина ка-

СОДЕРЖАНИЕ

Пролог	5
ОТПЛЫТИЕ	20
ВЕСНА	76
ПРЕДЧУВСТВИЕ ГАРМОНИИ	183
ГАРМОНИЯ. ЛЕТО	244
ОСЕННЯЯ ПЕСНЯ	275
ЭПИЛОГ	328
Основные даты жизни и творчества В. Э. Борн- сова-Мусатова	334
Краткая библиография	335

ИБ № 4334

Константин Владимирович Шилов

БОРИСОВ-МУСАТОВ

Редактор М. Фырнин

Рецензенты А. Русакова, В. Володарский

Серийная обложка Ю. Арндта

Макет фототетрадей Л. Томчиной

Художественный редактор А. Степанова

Технический редактор Т. Кулагина

Корректоры В. Назарова, И. Тарасова, Г. Василёва

Сдано в набор 04.06.85. Подписано в печать 10.11.85. А00951.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Гарнитура
«Обыкновенная новая». Печать высокая. Услови. печ. л. 17,64+
+1,78 вкл. Усл. кр.-отт. 21,41. Учетно-изд. л. 20,7. Тираж
150 000 экз. (50 001—100 000 экз.). Цена 1 р. 70 к. Заказ 860.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства
ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типо-
графии: 103030, Москва, К-30, Суцевская, 21.

1 р. 70 к.

М О Л О Д А Я Г В А Р Д И Я